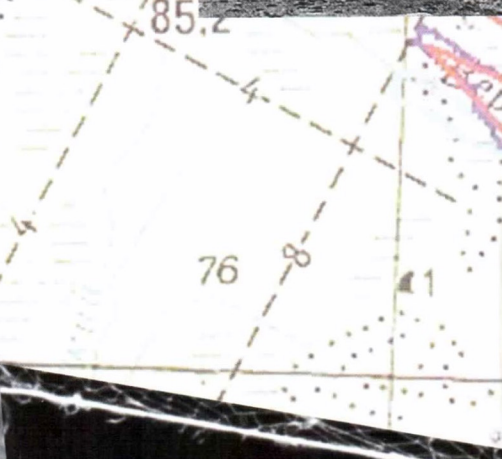
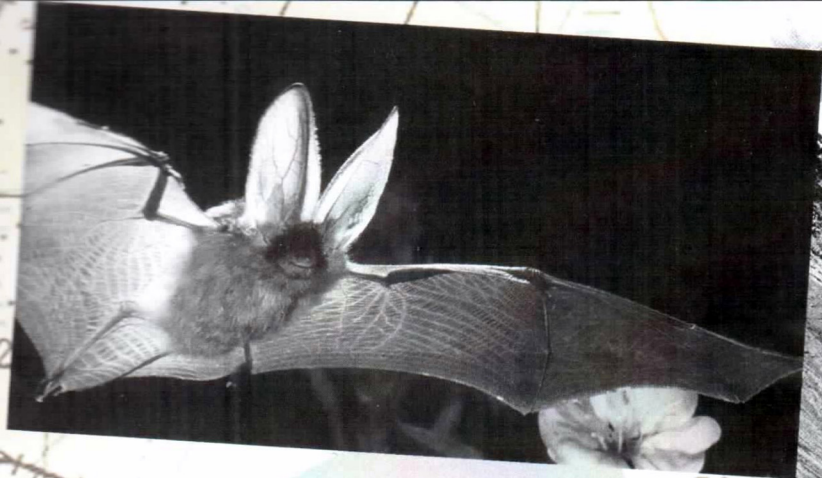




П. П. Стрелков

**Непредвиденное  
путешествие**

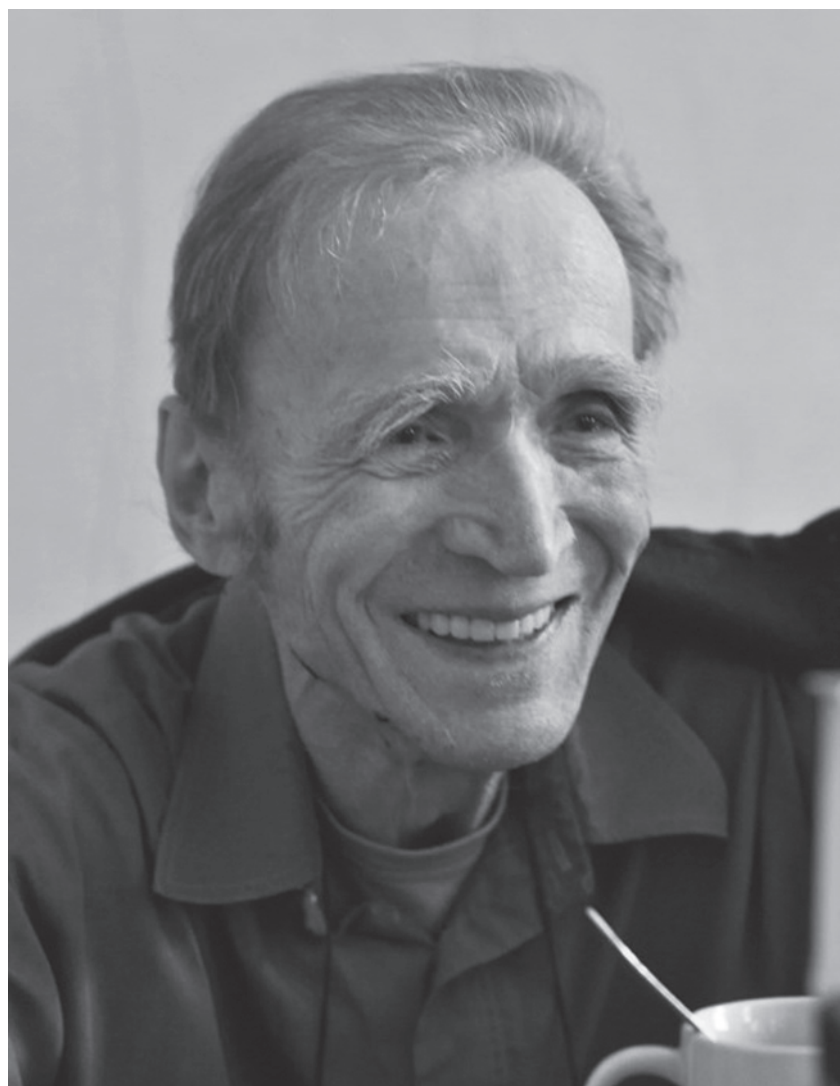


П. П. Стрелков

# Непредвиденное путешествие



Товарищество научных изданий КМК  
Москва ❖ 2015



**О Петре Петровиче  
Стрелкове  
(1931–2012)**



Не все возможности личности исчерпывают профессиональные занятия. Бывает, что оказываются не удовлетворены иные душевные склонности, способности и умения человека. Так было у Петра Петровича, чьим призванием была зоология. Областью его профессиональных интересов были рукокрылые (Chiroptera, летучие мыши), которыми он занимался в Зоологическом институте Российской академии наук в Санкт-Петербурге всю жизнь, и стал со временем ведущим специалистом по рукокрылым всей советской Палеарктики. Научные публикации Петра Петровича известны далеко за пределами России, на его работы в рецензируемых изданиях на 9.12.2012 дано более 746 ссылок. Он был редактором научного журнала *Plecotus et al.* Его именем назван новый вид рода ушанов (Ушан Стрелкова, *Plecotus strelkovi Spitzenberger, 2006*). Для зоологов — это высший знак признания. Изучая летучих мышей, Петр Петрович исколесил как участник и руководитель зоологических экспедиций всю Европейскую часть России, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Кавказ и Закавказье. Помимо профессиональных занятий у него в жизни было два увлечения — охота, страстью к которой он заразился в 14 лет, и писательство, которым он начал заниматься позднее. Он не был обделен чувством юмора, и его первый литературный опыт, который я помню, пронизан этим чувством. В пору безденежья, собравшись в дом, куда был зван, и, не желая явиться туда с пустыми руками, он написал веселый “Трактат о хождении в гости”. Хозяева оценили подарок. Шуточная вещь удалась ему. Любопытно, что она попала в самиздат, где стала фолькло-

ром, без фамилии автора и без устойчивого текста — передававший ее, добавлял в нее или устранил из нее кто, что хотел. В эру Интернета нашлись и любители приписать ее авторство себе. Недавно авторский оригинал был обнаружен и, на беду самозваным сочинителям, все сомнения, если они у кого были, отпали. О своих охотничьих и экспедиционных приключениях Петр Петрович частично уже рассказал в имевших успех книжках: “В поисках летучих мышей” (Л., 2007) и “Цена трофея” (Л., 2007, [http://lit.lib.ru/s/strelkow\\_p\\_p/text\\_0010.shtml](http://lit.lib.ru/s/strelkow_p_p/text_0010.shtml)). Другие, как смешные, так и поучительные истории, связанные с работой в полевых условиях, были обнаружены в его компьютере после кончины. Они представлены в настоящем сборнике. Круг его тем широк. Кроме экспедиционных происшествий здесь лирические воспоминания о детстве и о близких людях, таких как вырастившая его бабушка (“Добрый гений нашей семьи”, “Печальные вестники”). Лазая по пещерам, он думает не только о летучих мышах, но и о монахах, некогда их населявших. У него был особый подход к изображению людей, да и зверей. Он состоял в стремлении к документализму, отказу от вымысла. Даже если в том, что он писал, просматривается подтекст, например, образы летучих мышей предстают как предвестники смерти, в основе лежит реальное событие.

Когда друзья и родные решили издать сборник его рассказов, все были согласны в том, что «Непредвиденное путешествие» занимает особое место, во-первых, по теме — человек на грани жизни и гибели, во-вторых, потому, что это последнее произведение Петра Петровича как литератора. В сборник вошли некоторые из ранее опубликованных рассказов, тематически перекликающиеся с этой историей, три поздних рассказа Петра Петровича, ранее опубликованные в труднодоступных изданиях, и репортаж журналиста Романа Евгеньевича Грузова о событиях, описанных в истории «Непредвиденное путешествие».

*Ю.Л. Кроль*

# Трактат

## о хождении в гости



Острые запросы современности за последнее время выдвинули на передний план новую, но чрезвычайно актуальную область знания — изучение “ГОСТЕВЕДЕНИЯ”. В настоящем трактате мы попытаемся осветить некоторые основные проблемы и понятия этой, пока еще мало известной советской общественности науки.

Определим сперва предмет наших изысканий:

“Гостеведение” — это наука о хождении в гости как явления в общественном его становлении, развитии и распространении, его вредности и мерах борьбы с ним.

Гость — лицо, покушающееся на покой, личное имущество и здоровье хозяина.

Хозяин — лицо, являющееся объектом домогательства гостя.

Хождение в гости — явление социальное, уходящее своими корнями в глубокую древность. Ходили ли люди в гости в эпоху раннего первобытнообщинного строя? На это мы можем ответить отрицательно. В те далекие времена, времена юности человечества, существовал наивный и мудрый обычай — съедать своих гостей, если таковые появлялись. Эта милая привычка до последнего времени сохранилась у аборигенов Соломоновых островов.

Хождение в гости, как общественный недуг, появилось вслед за частной собственностью. Первопричиной явления, как и прочих общественных бедствий, как то: воровство, сутенерство, бандитизм и шантаж, явилось имущественное неравенство людей. Однако, хождение в гости не есть привилегия какого-нибудь одного класса, нет. Патриций и плебей, хозяин и раб, буржуа и пролетарий, профессор

и студент — все они являются жертвами и агрессорами, т.е. хозяевами и гостями. Гости уже проникли всюду: они ворвались в грязную и прокуренную комнату холостяка и в семейную спальню. Гости кишат на похоронах и крестинах, свадьбах и поминках. Ряды гостей пополняются все новыми и новыми кадрами. Как инфекционная болезнь явление ширится и растет, оплетая щупальцами спрута все стороны общественной жизни. Известно, например, что у ряда народов (так называемых “хлебосолов”) независимо от их общественного строя, географической среды и плотности народонаселения, хождение в гости приняло размеры национального бедствия, так как толпы алчных гостей опустошили тучные ранее нивы, отрясли обильные некогда сады и в корне подорвали животноводство. Именно поэтому мы намерены серьезно обсудить некоторые вопросы систематики, экологии и хозяйственное значение гостей, а также меры борьбы с ними.

Гости многообразны по своим вкусам, психике, конституции и вредоносности. Нам кажется, что естественная систематика гостей должна строиться на выделении двух больших групп: 1) не приносящие подарки и 2) приносящие подарки. Гости, приносящие подарки, эволюционно более молодая, наиболее лицемерная а потому особо опасная категория. Подарок — это способ мимикрии, камуфляж, мелкая подачка, которая должна усыпить твою бдительность. Так матерый капиталист Уолл-стрита, загребая кровавой лапой миллиардные прибыли, швыряет порой в серую толпу эксплуатируемых горсть медяков.

Вкратце о подарках. Каждый гость норовит добыть подарок подешевле. В этом стремлении он не останавливается ни перед чем. Особенно охотно гость дарит съестное, в надежде пожить самому. Здесь его не останавливают даже траты. Специально для подарков, не подвергающихся съедению, отечественная промышленность выпускает вазочки, портсигары, записные книжки, одеколон, самопишущие карандаши, чайные чашки и мраморных слонов. Необходимо еще отметить, что гости бывают пьющие и непьющие. Последние разборчивы в пище, норовят схватить лучший кусок и, как правило, моралисты, что усугубляет их вред. Гость пьющий — попроще. Он без разбора ест и пьет все имеющееся на столе, даже предметы мало съедобные. Любимыми напитками являются — водка, вина, спирт, денатурат, а в исключительных случаях, даже отработанный проявитель. Этот гость простодушнее и добрее.



Наиболее безобидная форма гостей — молодожены, не имеющие собственной жилплощади. Эти просто стремятся выжить тебя из комнаты.

Гости наносят человечеству вред много больший, чем аферисты, взломщики, шулера. Несмотря на это, гость, в отличие от них, находится под покровительством закона. Придя к тебе, гость отнимает драгоценное время, которое ты мог бы тратить на сон или иные забавы. Но этого мало. Гость целиком лишает тебя таких радостей одиночества как почесывание спины и др. мест, хождения голышом и т.д. Гость необычайно прожорлив, он стремится съесть не только ваш обед, но и обед вашей жены. Что он не съест, он утащит или испортит. Гости бьют рюмки, тарелки, ломают столы и стулья, люстры и вывинчивают лампочки в уборных. Совать окурки в пепельницу гость органически не способен, предпочитая им тарелки с закусками и чайные чашки. Подвыпивший гость запирается в уборной и засыпает там, причиняя немалый ущерб окружающим. В этих случаях особенно страдают ванны, умывальник и большие цветочные горшки. Еще пьяные гости выкидываются в окна, падают с лестниц и учиняют драки. И хоронит хозяин бездомных за свой счет. Меры борьбы с гостями еще очень несовершенны. Вкратце остановимся на некоторых из них.

Меры пассивные:

1. Не допускать гостей в дом, а допустив, не кормить их. Но гость жаден, голоден и длительная осада, связанная с длительным постом, может пагубно отразиться на здоровье самого хозяина.

2. “Способ Демьяна” — надо самому позвать гостя и перекормить его. Но нынешний гость практически ненасытен.

3. В ответ на один визит нанести их два или три, т.е. поставить вашего гостя в незавидное положение хозяина. Подобных способов очень много. Мы не можем рекомендовать такие мало достойные мероприятия как тайные плевки в пожираемую гостем пищу и писание неприличных слов на спинах подвыпивших. Эти способы — пути, заслоняющие основную задачу — полное искоренение гостей. До сих пор мы останавливались только на вредной стороне деятельности гостей. Будет несправедливо, если не будет отмечена и некоторая приносимая ими польза: если у вас имеются залежалые продукты, зовите гостей. “Лучше в вас, чем в таз“, гласит народная мудрость. Прием гостей вырабатывает смекалку и мужество, меткость глаза и силу удара. Если с вами живет противная родственни-

ца, чьей комнатой вы хотите завладеть, зовите почаще гостей, и ордер уже лежит у вас в кармане.

Таким образом, существовать вовсе без гостей человечеству трудно, "гость — как воздух", говорит восточная поговорка. "Вдохнуть его так же необходимо, как и выдохнуть". В заключение нам хочется отметить, что и в этом случае мы видим проявление великого принципа единства противоположностей в явлениях природы и общества.



## **В трех соснах над Капланкыром**



Даже по туркменским понятиям, солнце в тот майский день палило нещадно. Не только рубашка, но даже мои брюки промокли от пота, пока я лазал по раскаленным чинкам (глинистым обрывам) Капланкыра. К вечеру все мои помыслы сводились к драгоценной канистре с водой, что оставалась в лагере. Когда я, наконец, к ней прильнул, то пил большими глотками прямо из горла, так что струйки воды текли по подбородку, груди, и затекали в штаны. Вода в канистре за день нагрелась и отдавала какой-то химией, но это не портило наслажденья.

Утолив первую жажду, я принялся кипятить чай. Есть не хотелось, только пить. Крепко заваренный чай с сахаром был самым желанным и прекрасным напитком. Тут уж я не торопился, растягивал удовольствие и незаметно выпил два солдатских котелка. К концу чаепития моя утроба так наполнилась водой, что в ней булькало.

Солнце, между тем, быстро опустилось за край обрыва. Бесконечные просторы унылых такыров и солончаков, что раскинулись у подножья Капланкыра, ненадолго озарились феерически красным закатным светом и начали быстро темнеть. Как всегда в Каракумах, дневная жара резко сменилась прохладой, во влажной одежде мне стало зябко. Пора было готовиться к ночлегу.

Я путешествовал один, налегке, палатку с собой не возил и ночевал всегда под открытым небом. Приготовиться ко сну было неслож-

но: разостлать спальный мешок на гладком месте, чтобы неровности глинистой почвы, камни и колючки не мучили ночью тело. Подходящая площадка нашлась только метрах в сорока от лагеря, а точнее — от потухшего кострища и небольшой кучки походного имущества, сброшенного с доставившей меня машины. Перетаскивать все барахло к месту ночевки было лень да и не казалось необходимым. — «Завтра перенесу» — решил я, стянул с себя пропотевшую, местами жесткую от соли одежду, умылся и голышом залез в спальный мешок, еще хранивший дневное тепло.

Во время одиноких ночевок особенно вписываешься в окружающую природу и ощущаешь себя ее частицей. Хорошо думать об этом в уюте спального мешка те короткие минуты, пока не уснул. Приятно сознавать, что на много километров вокруг ты один, других людей нет. Сладко ноют натруженные мышцы и суставы. Тихо до звона в ушах, а над твоим лицом, в быстро темнеющем небе, проступают звезды. На душу снисходит особое умиротворение, с ним ты проваливаешься в сон и хранишь его до утра.

Так было и на этот раз, но, против обыкновения, ночью я проснулся. Остро хотелось избавиться от лишней жидкости. Я обругал себя за то, что перепил чая, но медлить с исполнением желания было невозможно. Спросонья я вскочил, бурно справил малую нужду и юркнул обратно в спальный мешок.

Сон не возвращался. Теперь меня томило противоположное желание — опять хотелось пить. Такое случается, когда теряешь на жаре очень много влаги. Канистра с водой оставалась в лагере. Вставать и идти туда смертельно не хотелось, но жажда не унималась. Воображение назойливо рисовало, как с бульканьем льется вода из канистры и я приникаю губами к полной кружке.

Желание пить пересилило лень, я опять вылез из спальника. Неожиданно сильный ветер обдал холодом разнежившееся тело. Стояла кромешная тьма, необычная при ясном небе. Была та редкая ночь, когда молодая луна еще не народилась и свет ее вовсе не достигал земли. Под ногами и над головой было почти одинаково темно, только мерцали и будто качались на ветру в небе звезды. Я жмурился а потом широко открывал глаза, стараясь приучить зрение к темноте, но ничего не получалось. Не видно было собственной руки. Я сунулся под изголовье спального мешка, но ни фонарика, ни спичек на обычном месте не оказалось. Они были забыты мною в кармане рюкзака.

Как слепой, ощупывая босыми ногами землю, я осторожно двинулся в сторону моего лагеря. Идти на ощупь было крайне неудобно, приходилось вилять между куртинками колючих кустарничков и выбоинами, то и дело возникавшими на пути. Таким способом я прошел достаточное расстояние и уже должен был выйти к нужному месту, но его все не было. Я не сомневался, что мои вещи рядом, в нескольких шагах от меня, и стал делать небольшие круги и восьмерки. С помощью этих маневров я рассчитывал задеть ногой канистру или рюкзак. Увы, мои ноги встречали лишь пустоту и колючки.

Покрутившись так некоторое время, я стал думать, что еще не достиг нужного места. Шагов через десять-пятнадцать в первоначальном направлении я опять стал шарить вокруг, но мои вещи исчезли, будто заколдованные. Я начал сердиться, потерял осторожность, и больно занозил ногу. Пришлось сесть и на ощупь вытаскивать из пальца колючки. Пить к тому времени мне почти расхотелось. Было холодно и неуютно в крошечной черноте ветреной ночи, я решил не искать дальше канистру, а возвращаться к спальному мешку.

Не тут-то было! Сколько я ни крутился в том месте, где рассчитывал найти спальный мешок, он тоже исчез. Несколько раз я менял направление поисков, закружился и почувствовал, что потерял ориентировку и уже не представляю себе, где и что вокруг меня находится.

Пропавшее имущество и постель без сомнения находились неподалеку, но оставались недосыгаемыми. Более глупого происшествия со мной еще не случалось. Меня переполняли обида и чувство злого бессилия. Я громко ругался, поминая ночь, темноту, Капланкыр и родителей начальника, который меня сюда направил.

Преимущества одиночества уже не казались столь очевидными, да и частицей окружающей природы, как давеча, я себя больше не ощущал. Что может быть чужероднее для ночной пустыни, чем голый, беспомощный и злобно матерящийся человек? Зрителей вокруг быть не могло, но отсутствие одежды почему-то особенно меня угнетало, рождало чувство крайней униженности и незащищенности.

Конечно, можно было провести остаток ночи в ямке под кустиком. Май — не зима, не пропаду. Но радости перспектива такой ночевки не доставляла. Неожиданно холодный ветер прохватывал до костей, зубы давно уже выбивали чечетку. Главное же, не хотелось смириться с обидной потерей своей постели.

Браться за поиски надо было спокойно, хорошо подумав и призвав на помощь весь свой опыт. Единственным ориентиром для меня мог служить обрыв, близ края которого был расстелен для меня спальный мешок. Мысленно я представил себе карту северных Каракумов: плато Капланкыр тянется примерно с севера на юг и обрывается чинком в сторону запада. Но чинк может делать местные изгибы, не показанные на мелкомасштабной карте, и вовсе не обязательно находится от меня в строго западном направлении. Судя по холоду, который нес ветер, он скорее всего дул с севера. Я нашел на небе полярную звезду и по ней определил стороны света. Ветер был северо-восточный, из Сибири. Когда я вылез из спального мешка и отправился искать канистру, ветер дул на меня справа-спереди, а обрыв находился сзади и слева. Значит, искать его нужно на юго-западе, примерно по ветру.

Вооруженный навигационными расчетами, я почувствовал себя уверенней. Довольно долго я брел в выбранном направлении и вдруг ощутил, что впереди что-то переменялось. До боли всматриваясь в темноту и осторожно ощупывая впереди землю, я понял, что стою на краю обрыва. Еще шаг, и я покатился бы вниз.

Я отпрянул назад, но обрадовался. Обрыв был найден, а мой спальный мешок лежал не далее, чем в десяти метрах от его края. Но в какую сторону от той точки обрыва, к которой я вышел? Это можно было решить только опытным путем.

Строго контролируя свой путь по звездам и ветру, я стал двигаться вдоль обрыва галсами: отходил от него под прямым углом шагов на двадцать и вновь возвращался обратно. Чтобы не пропустить цель, промежутки между параллельными ходками я старался делать не больше двух-трех шагов. Понятно, что такой способ поисков был не быстрым.

Сперва я двигался вдоль чинка в северном направлении. Прошло порядочно времени, но ни на спальный мешок, ни на рюкзак с канистрой я не наткнулся. Пришлось повернуть на юг и двигаться галсами в обратном направлении. Скрючившись от холода, я упорно продолжал «вытапывать» потерянное имущество. Оно как сквозь землю провалилось.

Я начал бояться, что во время первоначальных беспорядочных поисков отошел слишком далеко от нужного места и теперь обнаружить его будет очень трудно. Мною двигала уже не надежда на успех, а упрямство и уязвленное самолюбие. На холодном ветру

злость скоро выдохлась и сменилась горькой жалостью к себе. Мне вспомнились трагические истории о полярниках, что погибли в пургу чуть не на пороге своего жилища, и я находил много общего в нашей скорбной участи.

Наконец, моя настойчивость была вознаграждена. Сделав очередной шаг, я ощутил под ногой влагу. В недоумении я ощупывал неуместное в пустыне мокрое пятно, и тут меня обожгла радостная догадка: «Да это же мое, это я сделал!» И действительно, потоптавшись вокруг, я наткнулся на мягкий бок моего спальника. Не просто постели, а вожделенного дома среди ночной пустыни, так легкомысленно мною оставленного.

Я забрался в мешок с головой, затянул молнию и сжался в комок, чтобы быстрее согреться. По-прежнему снаружи гудел ветер и шуршали по оболочке спального мешка поднятые ветром песчинки. Эти звуки уже не казались враждебными и только подчеркивали уют обретенного убежища.

Пережитое приключение теперь представлялось мне с комической стороны. «Молодец чай, это он меня спас!» Я тихонько хихикал, вспоминая свои недавние страдания. Нет, лавры заплутавших полярников были явно не по мне, весенние Каракумы не Арктика, а исчезнувший спальник — не чум или снежная иглу. Куда ближе казалось приключение инженера Шукина из «Двенадцати стульев» — он должен был испытывать сходные с моими переживания, когда метался голым у захлопнувшейся двери собственной квартиры. Расскажешь кому, что искал постель по звездам — поднимут на смех. Это же надо суметь заблудиться в трех соснах!

Подумав, я решил, что к моему случаю эта пословица не применима. Как не хватало мне этих пресловутых сосен, хотя бы даже одного дерева или телеграфного столба. На фоне звездного неба они были бы заметным ориентиром, и обидного происшествия не могло бы случиться. Хорошо еще, что у края чинка устроился, иначе прогулял бы всю ночь а то и шею сломал, шагнув в темноте с обрыва.

Впрочем, рассуждения о соснах на лишенном древесной растительности Капланкыре были лишь фиговым листом для прикрытия собственного разгильдяйства. Когда ночуешь в поле один, да еще в дикой местности, все имущество следует держать в одном месте, а фонарь и спички всегда должны быть под рукой. Тогда и сосны не понадобятся.



## Белое солнце Бадхыза

На кордон Кызылджар нас привезла красная пожарная машина, куда мы были втиснуты втроем на одно законное место. Почему столь необычный транспорт использовался тогда в Бадхызском заповеднике, сказать не могу. Но мы были счастливы, так как ждать оказии пришлось несколько дней.

Была середина мая. Уже больше недели, как мы приехали в южную Туркмению из прохладного весеннего Ленинграда, и все не могли нарадоваться горячему солнцу. Настоящее тепло, по здешним понятиям, еще не наступило.

Утром я встал с восходом солнца, чтобы совершить маршрут вдоль длинного сухого оврага, давшего название кордону. Кончался он знаменитой впадиной Ой-Ерландуз, высохшим дном соленого озера. Увидеть эту достопримечательность и познакомиться с природой окрестностей Кызылджара и было моей главной целью.

Хорошо идти по утренней безросной прохладе Бадхыза. То же думал и молодой пес с кордона, который решил меня сопровождать. Ростом эта туркменская овчарка была с молочного теленка, но доверчивость и ласковость выдавали ее щенячий возраст — около полугода. Я не был уверен, что овчаркам разрешается свободно гулять по заповеднику, но прогнать ее не смог. Собака жизнерадостно трусила впереди, не обращая внимание на мои проклятия и демонстративное метание камней.

Первым интересным животным, которое я увидел, оказался стервятник. Птица сидела на краю пещеры, уходящей в крутую стену



оврага. Ее странный облик — желто-оранжевая голая голова с пышным париком светлых перьев на затылке — не вызывает в зоопарке симпатий. Здесь же, на свободе, стервятник выглядел внушительно и почти красиво. Когда я подошел совсем близко, он поднялся в воздух и стал закладывать широкие круги над оврагом.

Я полез искать гнездо стервятника. Пещера была явно сделана рукой человека, на стенах остались следы орудий, высекавших подземелье в плотном слое лесса. Кто соорудил это жилище в таком негостеприимном ныне месте? Наверное, люди ушли, когда высохла питавшая их жизнь вода, некогда бежавшая по оврагу. Позже я узнал, что возраст пещеры в Кызылджаре около семи тысяч лет и она старше египетских пирамид.

Гнездо стервятника действительно обнаружилось в пещере: в центре беспорядочной кучи сухих стеблей и веток лежало единственное, но очень крупное яйцо. Вокруг валялись куски панцирей черепах и высохшая голова варана — остатки падали, которой питалась птица.

После осмотра пещеры я неторопливо пошел вдоль верхней кромки оврага. Вправо и влево расстилалась слегка покатая равнина, покрытая зарослями ферулы. Это зонтичное травянистое растение считается достопримечательностью Туркмении: высотой оно достигает роста человека, а толщина узловатого стебля руки взрослого мужчины. Сухие стебли ферулы издавали специфический, как будто «звериный» запах. А может быть, так казалось из-за обилия вокруг крупных животных, которыми славится Бадхызский заповедник.

В пределах видимости то в одиночку, то небольшими табунками появлялись куланы — главная гордость Бадхыза. Несколько раз я вспугивал на склоне оврага муфлонов. Особенно запомнилось их бегущее лавиной стадо. Оно быстро скрылось за поворотом, но долго еще был слышен топот сотен копыт и шум катившихся по склону камней.

Больше всего мне нравились джейраны. Необычайно грациозны и изящны эти антилопы, еще недавно многочисленные во всех пустынях Средней Азии. Так было до начала массового автомобилизма, потом браконьерская охота с машин почти истребила этого прекрасного зверя. А в окрестностях Кызылджара его было много. Одна самочка джейрана поднялась с лежки совсем близко от меня, отбежала недалеко, остановилась, и мы долго рассматривали друг друга.

Рядом я нашел останки ягненка, недавно растерзанного хищником: будто игрушечную голову, обрывки шкуры и чуть толще карандаша ножки с блестящими черными копытцами.

Прошло несколько часов, когда я обратил внимание на странное поведение собаки. Давно уже она не бежала впереди меня, а плелась далеко позади. Передвигалась собака короткими перебежками: преодолев метров пятьдесят, она залегала в жиденькую тень кустарничков и делала новый рывок только после того, как я уходил далеко вперед. Затем перед очередной пробежкой пес стал жалобно выть и явно отказывался идти дальше. Устать до такой степени собака не могла. Я шел медленно, подолгу задерживался для фотографирования и разглядывания интересных животных и растений. С трудом до меня дошло, что щенку стало слишком жарко, а подушечки его лап начала обжигать разогревшаяся на солнце почва.

Повернуть в одиночку домой щенок либо боялся, либо считал себя не в праве, а продолжать маршрут был явно не способен. Лучшим выходом было найти подходящее место, оставить пса там, и зайти за ним на обратном пути.

Единственный известный мне способ заставить непривязанную собаку тебя дожидаться — оставить рядом с ней свои вещи. Для собаки это означает, что ты оставил с ней часть себя и должен вернуться, поэтому одиночество не слишком ее беспокоит. К тому времени изрядный багаж стал меня обременять, я с удовольствием сложил под кустик, где жиденькая тень была чуть гуще, тяжелый фотоаппарат с принадлежностями, бинокль, полевую сумку и флягу с водой. Собака примостилась рядом и тут же начала копать песок, устраиваясь поудобнее.

Было жарко, мне захотелось снять и насквозь пропотевшую одежду. Конечная цель экскурсии была совсем близкой, я решил дать телу подышать и немного загореть — недельное пребывание на туркменском солнце казалось достаточной подготовкой для этого. Мои защитного цвета гимнастерка и брюки, повешенные на кустик, мало бросались в глаза. В виде главного ориентира пришлось водрузить на вершинку кустика вывернутую шляпу-панаму, красная подкладка которой была хорошо заметна. Уходя я подумал, что при возвращении обратно собака обязательно поднимет лай, и это поможет найти оставленное имущество.

Налегке, в одних трусах и ботинках, я почти бегом отправился дальше. Местность широкими уступами понижалась, я с минуты на

минуту ждал, что овраг кончится, но за одной террасой следовала другая, и конца им было не видно. Темных очков у меня не было, и стало трудно смотреть вперед: подбиравшееся к зениту солнце заливало все вокруг ослепительным светом. Палило оно уже немилосердно, ни малейшего дуновения ветерка не чувствовалось в жарком воздухе. Не стало видно зверей, птиц и многочисленных ящериц, развлекавших меня раньше — все живое пряталось от зноя. Идти дальше уже не хотелось, только упрямство гнало меня вперед. Наконец, овраг расступился и вдалеке, в дрожащем знойном мареве, показалась широкая, белая от соли равнина. Не спускаясь к ней, я повернул назад.

Идти вверх было тяжелее, а солнце светило теперь прямо в лицо. В моих прищуренных глазах начали плавать радужные круги. Неприкрытая голова, казалось, накалилась от солнца, стучала кровь в висках, язык высох и с трудом ворочался во рту. Почти физически я ощущал, как ставшее враждебным и жестким солнечное сияние свирепо обжигает и перегревает обнаженное тело. Было необходимо как можно скорее прикрыть его так легкомысленно снятой одеждой. Подгоняемый тревогой, я спешил и жадно вглядывался в местность, ожидая запомнившегося поворота оврага. Вот, кажется, и он, теперь оставалось найти отмеченный панамой кустик.

Пылающее солнце заливало степь беспощадно ярким слепящим светом. В этом белом сиянии все сверкало и блестело, ослепленные солнцем глаза плохо различали цвета, а однообразные чахлые кустики не давали надежно ориентироваться. Вехи-панамы нигде не было видно. В панике я бегал то вверх, то вниз по краю оврага. Осипшим голосом звал собаку, но та не откликнулась. Стало ясно, что быстро одежды мне не найти, а без нее солнце меня доконает. Ни малейшего укрытия, ни клочка настоящей тени вокруг я не видел.

В белом от солнца небе черным крестиком плавал знакомый стервятник. С тоской я вспомнил о прохладе его пещеры, и это направление мысли в нужную сторону. Если нет укрытия, его нужно создать. Не обязательно долбить в стене оврага пещеру, как безвестные жители древнего Кызылджара.

Большинство животных пустыни спасаются от зноя в толще почвы. Это мне подходило. Под кустиком саксаула виднелась нора, начатая и брошенная каким-то зверем. Руками я стал расширять и углублять ее. Как завидовал я обладателям когтистых лап, куда лучше приспособленных для землеройных работ, чем мои пятерни!

К счастью, песчаный грунт легко поддавался усилиям пальцев. Минут через десять я сумел, скорчившись, втиснуть в нору верхнюю половину тела. Ноги оставались на солнце, но я засыпал их сверху толстым слоем песка.

В норе сразу стало прохладнее. Постепенно я остывал, отходили головная боль и головокружение. Глаза отдыхали в сумраке от нестерпимого солнечного блеска. Зато начала болеть обожженная кожа на спине, груди, бедрах. Я лежал, полузакрыв глаза, временами чутко задремывая. Струйками пересыпался подсыхавший песок, мелкие насекомые шевелились у самого лица, но оставались вне фокуса зрения. Что-то шуршало и скреблось около уха, но повернуть голову и посмотреть из-за тесноты я не мог. Боковым зрением раз заметил, как через мои засыпанные песком ноги проскользнула стрела-змея, заползла на ветку саксаула и застыла, слилась с серыми сучками. Подумалось, что у сидящего в норе зверя мало внешних впечатлений.

Солнце заметно клонилось к западу, когда я решил вылезти из своего убежища. В волосах и на теле оказалось столько песка, что я не счищал его, а отряхивался, как собака после купания. Жара спала, но даже ослабевшие солнечные лучи причиняли боль покрасневшей коже. Появились тени, стало лучше видно, главное же, что я успокоился и пришел в себя.

Вскоре обнаружилась и веха-панама, я немного не дошел до оставленных вещей. К удивлению, собаки на месте видно не было. Все разъяснилось, когда я подошел ближе. Для спасения от солнца щенок прибегнул к тому же способу, что и я, но осуществил его значительно эффективнее. Доблестный страж моего имущества выкопал в песке нору такой длины, что скрылся в ней целиком и до него не удавалось дотянуться рукой.

Я напился из фляги и с трудом натянул одежду на болевшее тело. Собака смущенно вылезла из норы и бодро затрусилась домой. Уже без всяких приключений мы добрались до кордона. Там пес припал к лохани с водой и пил, пока не раздулся. Я же смазался вазелином и поспешил лечь. Вскоре начался озноб, подскочила температура, малейшее движение и даже покрывавшая тело простыня причиняли страдание. Назавтра кожа начала сходить с меня клочьями.

Через сутки все неприятные последствия моего первого знакомства с Бадхызом кончились. Несмотря на достигнутую теперь адаптацию, даже на близкие экскурсии я выходил только в шляпе

и в полной одежде. Уважение мое к туркменскому солнцу неизмеримо возросло. Началась настоящая жара, в день памятной прогулки температура впервые за весну приблизилась к сорока градусам в тени.

Изменилось и поведение собаки. Ко мне она относилась так же приветливо, но никакие подачки и ласки не могли выманить ее за пределы кордона. Из того я заключил, что хороший урок получили мы оба.





## За куукаму

Причуды экспедиционного снабжения ограничили наше меню продуктами трех наименований: макаронами, капустой и сгущенным молоком. Обеды проходили тоскливо, а разговоры о мясе становились все навязчивей.

Живой шашлык являлся нашим голодным взорам в виде сибирских козерогов, по местному кииков. О присутствии зверей мы узнавали по стуку катившихся сверху камней, и только в бинокль порой удавалось заметить их крохотные за дальностью фигурки. Чтобы встретиться с козерогами ближе, надо было подниматься вверх по склону хребта. Начальство долго крепилось, но тоска по мясу перебила инструкцию по технике безопасности. Я был отпущен в одиночку разведать ближние места охоты на кииков.

Наш экспедиционный отряд работал в труднодоступной части Памира, на берегах Сарезского озера. Сурова природа этих мест. Днем в безветрии изнурительный зной, под лучами яростного солнца дышат жаром и каменноугольным блеском спят глаза бурые от горного загара камни. Стоит скрыться солнцу, начинает тянуть пронзительным холодом, впору натягивать фуфайку. Прямо в воды Сареза уходят крутые безжизненные осыпи. В устьях ручьев и речек, что впадают в озеро, местами растут корявые низкорослые тополя, но деревья радуют глаз лишь издали. Все пространство под их кронами покрыто скатившимися сверху камнями и кажется, будто они растут прямо из камня. А выше лишь голые склоны уходят к фарфо-

рово-синему небу. На берегах Сареза скудна растительность, мало птиц, редко увидишь следы зверя. Лишь тучи слепней облепляют всякого, кто подходит днем к воде. До сих пор не пойму, за чей счет живут эти орды кровососов.

Я впервые попал в горы, все кругом было ново, но меня не оставляло чувство тоски. Возможно, что в этом настроении присутствовала клаустрофобия — боязнь замкнутого пространства. Давили нависавшие со всех сторон склоны, вершины сжимали небо. Солнце поздно заглядывало в ущелья и рано уходило, пряталось за хребтами. Глаза тосковали по простору, по невидимой здесь линии горизонта, а громадность гор вызывала не восхищение, а унижительное чувство собственной ничтожности. Угнетало меня и то, что в маршруты мы ходили всегда группой, строго придерживаясь инструкции по технике безопасности в горах. Словом, обычной радости от полевой работы я не испытывал и даже прикидывал возможность уехать из экспедиции раньше срока. Разрешение искать кииков пришлось очень кстати, напоследок хотелось погулять в горах свободно и в одиночестве.

Вышел я налегке, захватив с собою только карабин. Остаться совсем без общества не удалось. За мной увязался фокстерьер по кличке Наль — уговоры, угрозы и даже метание камней не смогли убедить его отказаться от прогулки. Наль был общим любимцем и развлекал нас своей жизнерадостностью, бесстрашием и непомерной охотничьей страстью: все бегающее и летающее привлекало его внимание, но неизменно уходило от его зубов. Братъ Наля на серьезную охоту явно не следовало, но я шел только разведать обстановку и на встречу со зверем не рассчитывал.

Моей целью было исследовать высокую террасу, тянувшуюся вдоль берега озера. Пройти по ней оказалось невозможно из-за глубоких расщелин. Возвращаться обратно не хотелось, и я двинулся по единственному свободному пути — прямо вверх по склону хребта.

В горах непривычному человеку трудно оценить расстояние. Час, второй и третий поднимался я вверх, но вершина хребта почти не приближалась. Давно следовало повернуть назад, но мною овладело упрямое желание осилить «в лоб» этот выматывающий силы склон. Технически подъем был не сложен, но утомителен и однообразен. В разреженном воздухе не хватало кислорода, через каждые несколько шагов приходилось останавливаться и переводить дыхание. Вокруг царило безмолвие, казалось, что мы с Налем единственные

здесь живые существа. Плитки бурого сланца, устилавшие склон, легко расслаивались на тонкие, как картон, пластины. Подошвы скользили по их гладким поверхностям, а руки и колени больно резались об острые грани. Было досадно смотреть на легко убегавшую вперед собаку, но когда мы выбрались, наконец, на гребень, то оба в изнеможении опустили на камни отдохнуть. Сарезского озера давно не было видно, оно осталось глубоко внизу. По моим расчетам, мы достигли высоты близко к пяти тысячам метров. Так высоко я еще никогда не забирался.

Небольшие восхождения, в которых мне приходилось до тех пор участвовать, всегда кончались разочарованием. Во время подъёмов мечталось, что наверху найдешь что-нибудь иное, не похожее на опостылевший склон, по которому так долго и трудно карабкался. И каждый раз я обманывался. За гребнем, закрывая горизонт, громоздились лишь новые склоны и вершины, еще выше тех, на которые поднялся.

В этот раз я попал на неровную площадку, покрытую пятнами ребристого снега. Тут меня ждал первый сюрприз: в неглубокой впадине у края снежника цвела куртинка розовых памирских примул. Было удивительно, как эти прекрасные растения укрепились здесь наперекор морозам и ветрам, иссушающим днем и ледящим ночью. Второй сюрприз ожидал меня за приземистой вершинкой, закрывавшей вид на другую сторону хребта. Я поднялся на нее и замер в восхищении.

Мне открылось наконец то, о чем я давно мечтал. Ничто не закрывало обзор. Глубоко внизу, под гребнем, расстилалась уютная зеленая долина, совсем не похожая на безжизненные берега Сареза. Небольшой ручей протекал по ней, собирая воду от тающих снежников. А за долиной, как волны застывшего моря, простирались далекие цепи гор. Они казались маленькими, почти игрушечными. До самого горизонта, из конца в конец, все было заполнено синеющими вдали хребтами и самые дальние из них сливались с синевой неба. Тени близких облаков оживляли своим движением застывший подо мною мир. Я видел на десятки километров, казалось, я был выше всех, и весь Памир лежал подо мною. Пьянящее чувство необычайного простора, почти полета, овладело мною и наполнило душу не испытанным еще восторгом.

Я долго любовался этим удивительным видом, но холодный ветер заставил меня подняться и вспомнить о цели прихода сюда. На-



битые тропы и свежий помет указывали, что козероги бывают на гребне постоянно. Я разглядывал сверху пятна снега на дне зеленой долины и вдруг заметил, что шевелится одна из черных точек, принятых мною за камни. В бинокль стали видны три крупных кийка-самца, лежавшие на снегу: их мощные рога четко рисовались на белом фоне. Вскоре один из козлов встал, по собачьи потянулся и, сойдя со снега, принялся пастись. Два других как по команде поднялись и двинулись вслед за первым. Животные часто поднимали головы и осматривались по сторонам.

Кийки находились близ основания голого склона, скрытно двигаться по которому было невозможно. Я решил сделать обход по гребню и спуститься в долину под прикрытием отрога горы. Как только ближний склон закрыл меня от козлов, я начал спуск по высокой и крутой осыпи. Большими прыжками, оступаясь и падая на спину, я быстро скатывался вниз, теряя с такими усилиями набранную высоту. Потревоженные камни прыгали вокруг, с грохотом катились вниз. Меня это не волновало, горные животные не боятся привычного им шума камнепадов. Вот, наконец, дно долины, сочная трава и ручей. Под прикрытием крупных камней я крался вдоль подножия склона и вдруг неожиданно близко от себя увидел всех трех козлов, спокойно лежавших на бугорке. Звери располагались на одной линии боком ко мне и являлись завидной мишенью. Нас разделял сырой луг, изрытый сурчиными норами.

«Стрелять? Нет, подобраться для верности еще ближе!» Низко пригибаясь за камнями, я двигался дальше, высматривая удобную позицию для выстрела. «Не спешить, дать успокоиться дыханию, унять дрожь в руках.» Впереди оказалась подходящая груда валунов, за которой можно было укрыться и спокойно прицелиться. «Только не зашуметь, не брякнуть карабином, осторожнее ставить ноги!»

Тут случилось непредвиденное. Собака, послушно трусившая позади, внезапно рванулась вперед. Из-за близости козорогов я не мог окриком задержать Наю. Оставалось с отчаянием смотреть, как фокстерьер вцепился в зазевавшегося сурка. Свиристое рычание собаки и отчаянное верещание ее жертвы разом нарушили тишину долины. Невидимые до сих пор сурки кинулись к своим норам, и от зверя к зверю, от колонии к колонии понеслись пронзительные сигналы тревоги.

Я выглянул из-за камней. Два козерога исчезли, третий, готовый к бегству, настороженно смотрел прямо на меня. Я торопливо вски-



нул карабин. За спиной зверя вспухло облачко пыли, козел свечкой взмыл вверх и исчез. В спешке я не сменил прицел у оружия.

Вконец расстроенный, я сел покурить. Подбежала собака, успевшая прикончить злополучного сурка. Вид у Наля был столь победоносный, что наказать его не хватило духа. Да и не за что было. Мы оба охотники, каждому выпал шанс добыть крупного зверя. Фортуна улыбнулась ему.

Нарушенная выстрелом жизнь зеленой долины быстро пошла своим чередом. Со звонкими криками села рядом стайка красноносых галок-клушиц. По ямам, на месте раскопанной медведем сурчиной норы, кормился выводок краснобрюхих горихвосток, ярких, словно бабочки. Показались и сами хозяева нор. При виде сурков Наль рванулся навстречу новым подвигам, но я успел ухватить его за ошейник. От возбуждения челюсть у собаки отвисла и судорожно подергивалась, с губ стекали ниточки слюны. Я был отомщен за испорченную охоту, ибо видеть зверя и не кинуться на него было для Наля мучительно.

Из ближней норы выглянула мордочка любопытного сурчонка. Он долго озирался по сторонам, все дальше высовываясь наружу. Наконец, зверек встал столбиком у входа, смешно прижав передние лапки к толстому брюшку. Все привлекало его внимание — крики клушиц, тень пролетевшей птицы и, особенно, невиданная фигура человека. Несколько раз рядом показывался другой сурчонок, но тут же испуганно скрывался. Тогда первый храбрец принимался обиженно кричать, ему явно не хватало общества. Наконец, высунулась большая голова старого сурка. Несколько секунд он рассматривал меня, затем тревожно свистнул и исчез под землей. Тотчас скрылся и маленький, только задние лапки и тонкий хвостик мелькнули в отверстии норы.

Солнце уже низко стояло над горами, давно пора было уходить и нам. Только встав на ноги, я понял, как сильно устал. Прошло возбуждение охоты и путь вверх по долине оказался не так короток и легок, как я воображал. Быстро вечерело. Сурчиные семьи выстраивались у нор и провожали нас прощальным свистом. Оглядываясь назад, я их больше не видел, животные скрывались на ночь в свои подземные жилища. Пришла тревожная мысль: «Когда же мы будем нынче дома?» Перспектива возвращаться в темноте меня сильно беспокоила, но ускорить движение я был не в состоянии. Впору было радоваться, что упустил киика. Вынести отсюда мясо

не хватило бы сил, а оставленную тушу непременно растащили бы грифы.

Особенно тяжело было взбираться обратно на гребень, с которого я заметил козерогов. Сыпучий склон круто уходил вверх. Каждый метр подъема давался с трудом, отяжелевшие ноги дрожали от перенапряжения, рот жадно ловил воздух, но не успевал напитать легкие кислородом. Лишь однообразные тягучие мысли стучали в голове: «Дойти вон до того камня. А теперь до следующего...» Солнечные лучи перегнали меня и уходили все выше по склону, оставляя за собой густую тень. Когда я из последних сил выбрался на гребень, только вершины окрестных гор еще светились в последних лучах солнца.

Наш лагерь находился близ устья ручья, впадавшего в Сарез. Ручей слабо шумел по другую сторону гребня, на который я выбрался. Чтобы облегчить дорогу домой, я решил двигаться вниз по его течению.

С началом спуска как будто прошла усталость. Мы с Налем почти сбежали в верховья ущелья, где талые воды снежников сливались в небольшой ручеек, и споро пошли вдоль него. Стемнело. Приняв притоки из боковых ущелий, ручеек смотрелся уже небольшой речкой, с шумом катившейся по возрастающей крутизне. Большие и малые камни сплошь покрывали дно ущелья. То один, то другой берег речки оказывался непроходимым, приходилось брести через ледяную воду или прыгать по мокрым камням, едва различимым в темноте. Наль уже не выбирал дороги и понуро брел следом.

Прошел час, второй. Я ждал, что ущелье вот-вот распахнется и за очередным его поворотом откроется темная долина Сарезского озера и станет виден отсвет лагерного костра. Или светлячки фонариков в руках товарищей, которые наверняка беспокоятся и вышли меня встречать. Поворот сменялся поворотом, но ущелье оставалось все таким же тесным и угрюмым. Было почему-то неловко нарушать покой ночи, но я дал сигнальный выстрел. Грохот прокатился по ущелью, долго затихал вдали, но ответа не было. Вдобавок стреляная гильза мертво застряла в патроннике и карабин вышел из строя. Вскоре путь преградила снежная арка, под которую с ревом уходил поток. Ничего похожего вблизи нашего лагеря быть не могло. Стало очевидным, что я заблудился.

Идти обратно не было сил. Из камней я сложил заслон от холодного ветра, расчистил небольшую ямку и лег. Усталая и голодная со-

бака прижалась ко мне и тут же заснула. Я же не мог сомкнуть глаз. Только в высокогорье приходит такая страшная усталость, когда неспособен уснуть, не хочется есть и нет сил даже переменить неловкую позу. Беспокойные мысли крутились в голове. Я вспоминал весь свой путь и не мог понять, как сумел заплутаться. Угнетала и мысль о товарищах — им тоже предстояла тревожная ночь, в горах пропал человек. Никто не мог знать, где я очутился. Стоит оступиться и повредить ногу, выбраться отсюда будет невозможно. Впервые пришло в голову, что ненавистная инструкция по технике безопасности в горах не столь бесполезна, как казалось раньше.

Время шло томительно медленно. Лоскут ночного неба, видимый со дна ущелья, беспрестанно пересекали сияющие полосы метеоритов. Иногда со склонов начинали катиться камни, все ближе и ближе, возможно ночной зверь проходил по осыпи. Ворчал проснувшийся Наль, рука машинально тянулась к бесполезному карабину. Но все смолкало, только речка продолжала свой шумливый бег.

Разгоряченный ходьбой, я сперва не почувствовал, как упала температура. Холод скоро напомнил о себе и без труда пробрался под легкую одежду. Развести огонь было не из чего, кругом громоздились одни камни. Чтобы немного согреться, я сунул под штормовку дремлющего Наля и передвигал эту живую грелку с места на место. Ныли замерзшие ноги, мокрые ботинки и брюки заледенели. Наконец, холод стал нестерпимым, пришлось подниматься.

Я медленно побрел назад, вверх по течению речки. Все мелкие ручейки и лужи сковало морозом. Звонко трещал под ногами лед, встречный ветер обжигал лицо и руки, задувал под куртку. Из-за склона показалась луна. При подъеме местность казалась иной, чем при спуске вниз по ущелью. Речка не раз делилась на два одинаковых потока и было не понять, вдоль которого из них идти дальше. В лунном свете выступали причудливых очертаний скалы и камни, не запомнившиеся по пути сюда. Я стал подозревать, что в темноте опять сбился с дороги. Снова поворачивать назад? Угроза блуждать по теснинам ручьев в поисках выхода приводила меня в отчаяние.

Немного успокоил меня череп верблюда, смутно белевший в рассветных сумерках. Его мертвый оскал показался желанней дружеской улыбки. Этот приметный череп, бог знает как попавший сюда, я запомнил с вечера, когда спускался вниз по ручью.

Быстро светало. Когда я поднялся до верховьев ручья и выбрался на гребень, первые лучи солнца вырвались из-за дальних вершин.

И тотчас все кругом переменялось. Тени ночи быстро спускались в ущелья, засинело серое небо, склоны гор окрасились в лиловые, оранжевые, нежно-розовые тона. Впервые я видел, как на короткие минуты восхода исчезает дневная однотонность Памира, и горы предстают во всем великолепии цвета. Эти краски я узнал впоследствии на гималайских пейзажах Николая Рериха: художник ведал секретом утренней красоты гор.

Единственный раз я встретил рождение дня над крышей мира. Должен признаться, что торжественность момента и холодное великолепие красок тогда меня не волновали. Глаза как бы фотографировали окружающее без участия сознания, «проявление» же этих кадров произошло позднее. В тот момент восход солнца означал для меня скорый конец жестокого утреннего мороза. Со светом прошли и ночные страхи — я узнал место, на котором очутился. Внизу еще спала в тени вчерашняя зеленая долина. Верховья двух похожих ущелий с текущими по их дну ручьями расходились по другую сторону гребня. Из одного из них я сейчас вышел. Другое поворачивало туда, где виднелись знакомые очертания вздымавшихся над Сарезом вершин и должен был находиться наш лагерь. Я перепутал их в сумерках.

Пока я размышлял, как идти дальше, произошло удивительное событие. Совсем близко на гребне возник крупный киик, возможно, из вчерашних знакомых. Солнце блестело на его ребристых рогах, высвечивало желтые глаза, кочья линной шерсти на боках. Он будто знал, что скрюченный от холода человек ему не опасен, и застыл в картинной позе. А через мгновение исчез, будто растаял. До сих пор не уверен, был ли козел в действительности или только причудился мне.

Начался последний, казавшийся бесконечным, спуск. Все вниз и вниз, ноги безостановочно перескакивали с камня на камень, упирались подошвами в крутой склон. Бедный Наль так сбил лапы, что пришлось нести его на руках. Вот уж показалась глубоко внизу зеленая гладь Сарезского озера, такого желанного после ночных скитаний. Вскоре я услышал выстрел, а затем встретил товарищей, которые в полном составе вышли на мои поиски.

Со времени моего ухода из лагеря прошло полтора суток. Почти столько же я проспал, отдыхая после похода, и еще день еле ходил, так болели от перенапряжения мышцы ног. Гораздо неприятнее было строгое разбирательство моего проступка. За нарушение дис-

циплины, пренебрежение техникой безопасности и срыв на день работы отряда мне грозило отчисление из экспедиции. И тут я почувствовал, что недавно желанный отъезд уже меня не прельщает. Уехать и не побывать больше в зеленой долине, этом открытом мною оазисе жизни? Не полюбоваться еще раз с гребня далекой панорамой гор, не добыть киика, не пройти до конца мрачное ущелье, в которое попал ночью? Нет, с этим я был решительно не согласен!

За время одинокого блуждания в горах что-то во мне изменилось. Несмотря на выпавшие тяготы, горы перестали угнетать меня, дружески манили неизведанным, стали как-то доступнее и понятнее. Возможно потому, что впервые я увидел их не только снизу, но и сверху, и незабываемое ощущение простора, испытанное на вершине хребта, осталось со мною и в тесных долинах.

Я благополучно работал на Памире до осени. Остались трудности высокогорья, но пришел опыт их преодоления. Было множество других, куда более удачных походов, но запомнился именно этот и остался в памяти самым ярким памирским впечатлением.





## Крещение по-памирски

Поход к устью Мургаба поручили возглавить мне, новичку в горах. Уже не помню, почему я согласился. Боюсь, что я оказался мелочно тщеславен и польстился на звание «старшего разведгруппы».

Неприятности начались с самого начала. Тропа, по которой мы шли вдоль Мургаба, внезапно исчезла: течение подмыло склон, и часть его рухнула в реку. Для прохода человека в обрыве было выдолблено несколько ямок: вставляя в них руки и ноги, можно было вскарабкаться метра на два вверх, где по карнизу шло продолжение тропки. Под ногами ревел Мургаб, тяжелый рюкзак тянул назад, в пустоту, края ямок предательски осыпались. Один я бы ни за что здесь не пошел, но обе наши девушки уже преодолели опасное место и отставать от них было невозможно стыдно. Когда я достиг карниза, ноги и руки у меня от страха тряслись, а спина взмокла от пота.

Дальше, к счастью, подобных сюрпризов не было. Девушки-ботаники занялись описанием растительности и скоро отстали. Я договорился с ними о месте и времени встречи и с приданным нам парнем-студентом ушел вперед. Тропа шла вдоль Мургаба и привела нас к его притоку, небольшой речке Сарезкол. Ее прозрачная ледяная вода бойко шумела между камней, но не поднималась нигде выше колен. Мы перешли ее вброд и на другом берегу речки сушили брюки и обувь на горячих от солнца камнях.

За устьем Сарезкола вскоре начинался тугай — заросли из невысоких памирских тополей и облепихи. Рядом с живыми деревьями



на корнях стояло множество засохших. Их колючие ветви местами переплетались, и продвигаться по тугаю можно было только под кронами, на карачках. Я приготовил ружье, но тугай оказался безжизненным, мы не нашли в нем ни птиц, ни звериных следов.

Концом маршрута было место, где долина Мургаба расширялась и превращалась в берега Сарезского озера. Отсюда мы повернули назад. Дров в тугае было много, в уютном месте мы разбили лагерь и сварили обед. С чувством хорошо выполненного дела мы ждали наших девушек, но в назначенное время они не явились. Мы запалили для них большой, далеко видный в сумерках костер. Заблудиться девушки не могли, весь маршрут проходил берегом Мургаба. Предположить, что они повредили на камнях ноги и обе одновременно охромели, было трудно. По дороге сюда нам встретились следы медведя, но косолапые на Памире смиренные и на людей не нападают. Что же могло случиться?

Совсем стемнело. Я тревожился все больше и пошел девушкам навстречу. Рев близкого Мургаба наполнял черноту ночи. Чтобы дать о себе знать, я несколько раз выпалил из ружья, только выстрелы могли перекрыть шум реки. Идти в темноте было трудно, слабый фонарик еле освещал нагроможденья камней под ногами. Моя тревога возрастала, пока я не заметил впереди слабый отблеск огня. Неужели они? Я вышел к Сарезколу, огонек едва мерцал на его противоположном берегу. Речка не была похожа на тот маловодный поток, что мы переходили утром. Она вздулась, украсилась бурунами и несла хлопья пены, но особого внимания на это я не обратил. Главным было, что девушки нашлись, с другого берега Сарезкола они подавали мне какие-то знаки. От души отлегло, но пришла обида. Я орал в адрес негодниц дурные слова, но за шумом речки они не могли их услышать. Мочить ноги мне не хотелось, но желание высказать девицам все, что я о них думаю, и привести их в лагерь оказалось сильнее. Я повесил ружье за спину, фонарик закрепил на груди и смело шагнул в воду.

В ноги ударила мощная струя течения. Я шел наискось против него, широко расставляя ноги и нагнувшись вперед для устойчивости. В слабом свете фонарика было видно, с какой бешеной скоростью неслась навстречу пена. До другого берега оставалось метра три, когда глубина достигла пояса и внезапно я очутился под водой. Я сразу вынырнул, но встать на ноги было невозможно. Течение несло меня как щепку, по сторонам мелькали верхушки камней в буру-

нах, я едва уклонялся от опасных столкновений с ними. Ухватиться же за камни не удавалось, руки не удерживались на их мокрых боках. Совсем скоро меня должно было вынести в стремнину Мургаба, где мощь течения была во много раз сильнее. Руки лихорадочно искали опоры, но всякий раз срывались. Потом меня близко поднесло к невысокому обрыву левого берега, и тут я сумел зацепиться ногтями за какую-то трещину, на миг задержал свое стремительное движение и вырвался из главной струи. Давление воды ослабло, я подтянулся к берегу, распластался на камнях и выполз из реки.

Я обернулся на Сарезкол и с запозданием ужаснулся. Бешеный поток не умещался, казалось, в русле и шел выше берегов. Он страшно ревел, из него непрерывно доносились тяжкие удары, это камни на дне или в толще воды с силой бились друг о друга. Нет, переходить такую речку назад я был не согласен!

Ко мне подбежали испуганные девушки. Они говорили потом, что самым удивительным и страшным для них был свет фонарика, который не потух под водой и показывал в темноте путь моего скоростного дрейфа. Как оказалось, винить их за происшествие было трудно: девушки не решились переходить вздувшийся Сарезкол и были в этом совершенно правы.

Кроме редких колючек, топлива вокруг не было. С острой завистью я глядел на далекое пятно костра, который палил в тугае наш студент. На Памире ночи холодные, а эта прошла особенно неудобно: без спального мешка и в сырой одежде мне пришлось трястись до утра. К тому же непривычно болело все тело. Когда рассвело, я обнаружил, что оно сплошь покрыто синяками — последствием столкновений с камнями, которые я даже не почувствовал во время недолгого купания. Ногти на пальцах, что удержались за спасительную трещину, оказались полуоторванными и почернели от запекшейся крови.

Наше возвращение в базовый лагерь прошло без приключений, даже путь по обрыву на месте рухнувшей тропы показался не таким отчаянно страшным, как в первый раз. Девушки восхищались моим благородным желанием не оставлять их ночью одних и бесстрашным переходом Сарезкола. Словом, репутация лихого и умелого парня была мне обеспечена.

Я понимал, что это не так. Причиной наших злоключений была только моя неопытность. Горные реки питаются снегом и льдом близких вершин, меньше всего воды они несут после ночи, когда на

вершинах царствует мороз. Под жаркими лучами солнца начинается бурное таяние, во вторую половину дня вода резко прибывает. Легко перейдя утром Сарезкол, надо было предвидеть вечерний подъем воды. Нашего студента нужно было загодя отправить на поиски и для своевременной доставки ботаников в лагерь; легкомыслием было ожидать, что девушки явятся в назначенное время. И в Сарезкол я сунулся по дурости, не представляя себе возможных последствий этого, девицы отлично переночевали бы одни.

К счастью, все обошлось благополучно, но могло быть иначе. После «крещения» в Сарезколе уважение мое к памирским водам неизмеримо возросло. Боязни же высоты преодолеть я не сумел. Роптать на это оснований не было: в горы ехать меня не заставляли, сам захотел.





## Гюрза

С ядовитыми змеями я сталкивался в Туркмении неоднократно, но свести тесное знакомство с ними у меня не было ни надобности, ни желания. Некоторую свою ущербность из-за этого я ощущал лишь в компаниях бывалых змееловов, в которых звучали леденящие кровь рассказы о единоборствах с кобрами, гюрзами и эфами. Змееловы добывали их за хорошие деньги для специальных питомников, где от змей получали драгоценный яд. В то время, о котором я пишу, это вольное старательство процветало, змеи были в моде, и не иметь на счету пойманных ядовитых гадин считалось в кругу молодых натуралистов почти неприличным.

В тот год я уже закончил полевые работы, купил в Аэрофлоте билет домой, но в последний день поехал с товарищем в окрестности Ашхабада осмотреть глубокие лёссовые овраги. На уступах обрывов там гнездились хищные птицы, и было интересно собрать для изучения остатки их пищи.

В небольшом овражном тупичке я заметил очень крупную гюрзу. Свившись тугими кольцами, змея лежала совершенно неподвижно, вытянув вперед свою массивную и малосимпатичную голову. На мое приближение змея не реагировала. “Наверное, мертвая”, — подумал я. С другой стороны, на погибших животных сразу налетают тучи отвратительных зеленых мух, а тут их не было. Поза змеи, при всей ее неподвижности, была слишком живой, но поведение совершенно необычным.

Гюрза — осторожное животное, встречи с человеком она старается избежать; застигнутая же врасплох, страшно шипит и делает угрожающие броски в твою сторону. Не приближаясь вплотную, я кинул в гюрзу комочек сухой глины. Он с тугим стуком отскочил от ее тела,

как от автомобильной покрывки, но змея не пошевелилась. Тогда я осторожно прикоснулся к змее стволом ружья. Тут мне показалось, что она сделала слабое, почти неувидимое глазом движение, но позы не изменила и продолжала лежать неподвижно. Чутье подсказывало, что змея все-таки живая. Меня разбирало любопытство выяснить, что с ней происходит, заодно хотелось испытать себя в ловле крупной ядовитой змеи, благо поимка этой странной особи не казалась трудным делом.

Я мягко прижал подошвой сапога голову гюрзы к земле, крепко обхватил ее рукой и рывком поднял вверх. Как только мои пальцы сомкнулись на шее змеи, та мгновенно ожила. Ее мощное, толщиной с мужскую руку тело напряглось и забило в воздухе с силой пожарного шланга, по которому гонят воду. Руку мою начало мотать во все стороны, затем гюрза обвила мое предплечье и, пользуясь этим упором, стала настойчиво выворачивать из-под пальцев свою шею. Левой рукой я сбрасывал с правой кольца змеи и пытался оттягивать ее за хвост в сторону, но тогда опять начинались мощные рывки. Я почувствовал, что долго не выдержу. Толстая шея змеи миллиметр за миллиметром вытягивалась из-под судорожно сжатых пальцев. Ее голова с широко раскрытой пастью, из которой страшно торчали ядовитые зубы, постепенно обретала все больше свободы.

Я не ожидал, что в казавшейся мертвой гюрзе встречу такого сильного противника. Конечно, можно было отбросить змею подальше в сторону и отступить, но это даже не пришло в голову. Ловля животных имеет свои законы, и другого решения, как одолеть гюрзу, уже не существовало.

Большой брезентовый мешок, который мы взяли с собой, находился у товарища. Он быстро подбежал на мой крик, но при виде бьющейся гюрзы резко затормозил и стал издали давать советы. Мой спутник-туркмен не питал любви к ядовитым пресмыкающимся. “Подай мешок!” — орал я истошным голосом, уже еле удерживая змею в руке. Понадобилось все мое красноречие, чтобы мешок с растянутым горлом оказался рядом. Я сунул правую руку со змеей в мешок, левой через брезент крепко перехватил ее за голову, с трудом разжал закостеневшие от напряжения пальцы правой руки, вынул ее из мешка, затащил его горловину и только тогда отпустил голову змеи. Теперь гюрза оказалась в надежном плену. До сих пор я не могу объяснить, почему гюрза до последнего момента не подавала признаков жизни и легко позволила себя схватить. Кожа змеи

была очень тусклая, и, возможно, наступление линьки парализовало ее активность. Судя по мощному сопротивлению, к большим и слабым она не относилась. Оставалось решить судьбу пленницы. Для работы она была не нужна, самолюбие свое я потешил, и ее можно было здесь же и выпустить. Но после трудной борьбы расстаться со змеей было жалко. Лихие змееловы ловили гюрз отнюдь не бескорыстно, они хвастались не только приключениями, но и высокими заработками. Я сильно поиздержался в экспедиции и решил поправить с помощью змеи свои финансовые дела.

Мы отвезли гюрзу в Ашхабадский зоопарк, но купить ее там не пожелали. В террариуме у них сидели целых три гюрзы, но тощие, вялые и чуть живые. Директор зоопарка не принял это во внимание и наотрез отказался от попытки продемонстрировать ему достоинства нашей пленницы. Он объяснил, что живых змей для питомников принимают только зооцентры в Ташкенте и Фрунзе, а в Ашхабаде предложить наш товар некому. Мой самолет улетал через несколько часов. Я великодушно предложил взять гюрзу моему товарищу. Молодых ашхабадских зоологов в те годы отправляли на очистку от змей территории правительственных дач в Фирюзинском ущелье, курортной зоне Ашхабада. За каждый представленный трофей им полагались какие-то льготы или премии. Товарищ великодушно отказался от моего подарка. Пока я складывал в его квартире рюкзак, он не позволил занести мешок со змеей в дом, но с радостью вызвался проводить нас с ней до автобуса. С рюкзаком за спиной и со змеей в руках я поехал в аэропорт. Была надежда воспользоваться темнотой и потихоньку выпустить гюрзу на краю огромного взлетно-посадочного поля, где пешеходов почти не бывает и водятся дикие грызуны, которыми питаются змеи. Воспользоваться этой идеей не удалось. Вблизи аэровокзала везде были или могли оказаться люди. Слишком опасна эта змея, совестно было выпускать ее на окраине многолюдного города. Оставалось одно — везти гюрзу с собой в Ленинград.

Рюкзак я сдал в багаж, мешок со змеей пришлось нести в самолет как ручную кладь. В те годы еще не производился досмотр сумок пассажиров, иначе я имел бы неприятное объяснение с контролером и милицией. Вскоре гюрза оказалась в салоне самолета Ашхабад—Ленинград. Найдя свое место, я сунул под него мешок со змеей и удобно развалился в кресле. Поначалу удалось задремать, и сцены утренней баталии с гюрзой, как кинокадры, поплыли с сонном со-

знании. Внезапно сон соединился с явью, сквозь шум двигателей я явственно услышал злобное шипение змеи: это сосед сзади вытянул ноги и задел мешок. Пришлось положить его себе на колени. Странным образом, в мешке любая ядовитая змея становится безопасной для окружающих. Она вмиг успокаивается и не пытается кусать даже через тонкую ткань. Поэтому моя гюрза не представляла угрозы ни для меня, ни для соседей. Однако сон больше не приходил, а время от времени руки сами тянулись проверять узел, затягивавший мешок. На промежуточных остановках самолета я забирал гюрзу с собой, боясь чьей-нибудь излишней любознательности по отношению к оставленному в салоне багажу. Мешок, в котором сидела змея, был старый и весьма грязный, элегантные девушки-стюардессы очень подозрительно поглядывали на него. Весь многочасовой перелет мы были с гюрзой неразлучны.

Измученный бессонной ночью и дорожными беспокойствами, я прибыл домой в Ленинград. Мешок со змеей я засунул глубоко под кровать и отправился выяснять, кто в городе заинтересован получить крупную гюрзу. Естественно, что ни о каких деньгах речь уже не шла, я был готов сам приплатить тому, кто освободит меня от малосимпатичного пресмыкающегося. Увы, обращения в зоопарк и другие зоологические учреждения, а также к нескольким фанатичным любителям змей не дали результата. Брать гюрзу никто не хотел. Дома меня ждала взволнованная бабушка. Орудя шваброй под кроватью, она услышала грозное шипение. Вначале она решила, что это сердится наш кот, но никак не могла взять в толк, почему он сидит в мешке. Инстинкт самосохранения и уже имевшийся опыт удержал бабушку от дальнейших исследований источника звука, который ей очень не понравился. Я был подвергнут строгому допросу. Пришлось сознаться и поведать о своих зловключениях. После этого дверь в мою комнату держалась постоянно закрытой, а через два дня бабушка предъявила ультиматум: “Или гюрза, или я”.

По телефону я уговорил взять змею один из зоопарков Прибалтики. Мешок был заколочен в ящик и вручен проводнику поезда. Я не считал возможным скрывать от него содержимое посылки и был вынужден уплатить изрядную сумму денег “за риск”. Иначе везти гюрзу он отказывался. Во всей этой нелепой истории с гюрзой нет ни слова вымысла. Возможно, читатель удивится, почему я так долго возился с ненужной мне змеей, а не умертвил ее или не выбросил в безопасном месте. Попробую объяснить.

Существует неписаная заповедь натуралистов: если ты выловил в природе животное, то обязан либо использовать его для дела, либо выпустить там, где поймал, либо в сходной обстановке. В первую очередь это касается животных сравнительно редких и ценных, к которым, несомненно, относится гюрза. Ее уничтожение означало бы для меня потерю уважения к самому себе. Посадив змею в мешок, я нарушил и другую заповедь, связанную с первой. Ловить животное можно лишь в том случае, если точно знаешь, как будешь его использовать. Гюрза хорошо помогла мне прочувствовать эти правила и на всю жизнь утвердиться в них.





## Эрик



Светлой памяти Сани,  
маленького хозяина Эрика

Это случилось в южной Туркмении. Натужно воя, наша экспедиционная автомашина переползала с одного песчаного холма Карабиля на другой. Пылало южное солнце, разбитая дорога нещадно пылила, однообразие пейзажа утомляло. Из дремотного состояния нас вывел крупный варан, который внезапно поднялся из зарослей колочек на обочине и тяжело побежал по песчаной колее. Облик варана столь удивителен, что всем захотелось ближе рассмотреть огромную ящерицу, ставшую теперь довольно редкой. Варана нетрудно догнать и быстроногому человеку, а тем более машине. Свернуть с дороги он не догадывался и через несколько минут стал уставать. Водитель затормозил, и мы посыпались из кузова на землю, готовые фотоаппараты. Поняв, что он окружен, варан принял боевую позу: высоко поднял переднюю часть тела, раздул горло, зашипел и принялся злобно стегать песок своим длинным, очень сильным и жестким хвостом. Пасть его угрожающе раскрылась, и в тот же момент он отрыгнул в дорожную пыль какое-то крупное, слабо извивавшееся тело. Отогнав варана, я с удивлением обнаружил, что им выплюнут живой песчаный удавчик. Змея достигала в длину сантиметров шестьдесят, было непостижимо, как она помещалась в утробе хищника. Наверное, варан только что проглотил удавчика, и мы помещали его послеобеденному отдыху. За исключением ранки посреди туловища — следов мощных челюстей гигантской ящерицы, змея оказалась неповрежденной.

Чудесно спасенного удавчика я поместил в мешок и в тот же день отправил с оказией в Ленинград своему маленькому племяннику, страстному любителю змей. Песчаный удавчик — красивое животное. Его желтоватую по цвету спинку покрывают красновато-коричневые расплывчатые пятна. Шея у песчаного удавчика почти не выражена, а хвост толстый и притупленный, так что не сразу поймешь, где у змеи передний, а где задний конец тела. Нрава он мирного и при должном уходе хорошо выдерживает неволю. В Ленинграде удавчика встретили с восторгом. Назвали его Эрик, похоже звучит наименование рода песчаных удавчиков по-латыни. Эрика поселили в просторном ящике с толстым слоем мелкого песка на дне. Однако обитателю жаркой Туркмении явно не хватало тепла, внутрь ящика пришлось опустить электрическую лампочку, под которой змея постоянно грелась.

Много хлопот вначале доставляло питание Эрика. Неживой корм брать он отказывался, поэтому кормить его приходилось принудительно: аккуратно раскрывать пасть и пинцетом проталкивать в глотку кусочки мяса. В еде удавчик оказался очень разборчив и невкусные кусочки выплевывал. Охотнее всего он глотал парную курятину, особенно кусочки куриной печени. Однако совсем без живого корма содержать змей нельзя. В природе песчаный удавчик питается мелкими грызунами и ящерицами, которых умерщвляет обычным для всех удавов способом: сдавливает кольцами своего мускулистого тела. Поэтому в диету Эрика входили белые лабораторные мыши или новорожденные крысята, с которыми он справлялся самостоятельно. Едят змеи сравнительно редко и медленно переваривают пищу, так что кормить Эрика приходилось всего три-четыре раза в месяц. В природе песчаный удавчик в водопое не нуждается. Жизнь Эрика в неволе отличалась от естественной, поэтому в ящик к нему ставилось блюдечко с водой. Иногда он ее пил, погружая в поилку всю голову и всасывая воду, как маленький бесшумный насос. Рана, нанесенная Эрику вараном, быстро зажила, и даже следы ее исчезли после линьки. Поверхность тела удавчика потускнела, кожа начала отслаиваться и наконец сошла целиком, как бесцветный полупрозрачный чулок с чешуйчатыми узорами. Интересно, что отслаивалась и оставалась при старой коже даже поверхность глаз, поэтому сброшенная змеиная шкурка — выползок — была точной копией Эрика. Каждый очередной выползок бережно сохранялся как ценный сувенир, которым племянник одаривал только самых близких друзей.

Хозяйка дома, большая любительница чистоты, поначалу пыталась купать Эрика в теплой воде. Это начинание вызвало энергичное сопротивление удавчика. На его сторону встал и мой племянник, в те годы сам не друживший с водой и мылом. Он резонно заявил, что в пустыне удавчик ванн не принимает, а купается в чистом песке. Водные процедуры были отставлены. Эрик стал общим любимцем и гордостью семьи. Он спокойно позволял брать себя в руки. Племянник любил поражать гостей, выпуская удавчика на обеденный стол или обвязав им, как галстуком, шею; последнее производило неизгладимое впечатление на его знакомых девочек. Познал Эрик и всесоюзную известность, демонстрировался в телевизионной программе “Ребята о зверятах”. Впрочем, мирская слава мало его волновала. Думаю, что контакт человека со змеей был сугубо односторонний. Удавчик позволял себя тискать, но сам оставался глубоко равнодушным к происходившему. Эрик любил одиночество, покой и тишину. Большую часть времени он неподвижно лежал под лампой на дне своего ящика, иногда целиком погружался в песок. Зарывался удавчик артистически: несколько неуловимых движений тела — и он скрывался под поверхностью песка. Некоторый интерес Эрика вызывали незнакомые предметы, которые иногда подкладывали в его жилище. Он тщательно изучал их, ощупывая чувствительным раздвоенным язычком. Было видно, что осязание играет большую роль в познании змеей окружающего мира. Честно говоря, Эрик производил впечатление малоактивного животного. Даже когда на удавчика напала ручная белая крыса, он не защищался, и его с трудом отбили от расвирепевшего грызуна. Казалось, ничто не может пробудить Эрика от обычной сонной вялости.

Прошло несколько лет. Жизнь удавчика текла безмятежно, хотя и несколько однообразно. Внезапно он исчез. Была поднята вверх дном квартира, перебраны все вещи, но Эрика не нашли. Тогда вспомнили, что удавчика не раз заставляли обследующим свое жилище. Когда кругом бывало тихо, он поднимал вверх переднюю часть тела и с помощью языка и кончика носа тщательно проверял, нет ли где выхода. Могучий инстинкт свободы оказался не чужд меланхоличному Эрику. На свой лад, медленно, но упорно он искал выход на волю, и старания его не пропали даром. Он ушел через узкую щель, оставленную между стенкой ящика и стеклом, покрывавшим его сверху.

Об Эрике уже стали забывать, когда через много месяцев после пропажи его нашли на полу кухни, близ щели под плитусом. Удав-

чик еле двигался от слабости. Где он пропадал без малого год, осталось его тайной. Известно, что змеи могут очень продолжительное время обходиться без пищи, но длительность отсутствия Эрика побивала все мыслимые рекорды. Или он кормился чем-то во мраке межэтажных перекрытий? Положенный на стол удавчик с необычайной для него живостью сунулся к чайному блюдцу. Ему налили воды, он пил ее долго и жадно. К еде же отнесся довольно спокойно. Эрика обмыли, обогрели, накормили и вновь поместили в его ящик. Удавчик быстро отъелся, приобрел хорошую форму, но вскоре опять исчез, на этот раз навсегда. Через несколько месяцев мы узнали от взволнованного дворника, что в квартиру на соседней лестнице заползла “огромная змея”. Перепуганная хозяйка вызвала по телефону наряд милиции, который и избавил ее от непрошеного гостя.



# По меловым пещерам Средней России



К началу моей работы окрестности Ленинграда оказались единственным в Европейской России местом, где были известны зимовки летучих мышей. Существуют ли они в других частях страны, мне предстояло выяснить. Первым на очереди было обследование Центрально-черноземных областей.

Опыт подсказывал, что зимующих рукокрылых надо искать в подземных убежищах. На интересовавшей меня части Русской равнины обширных естественных пещер нет, все значительные подземелья созданы здесь руками человека. Сведения о них я извлекал из замечательной книги, изданной в начале прошлого века под редакцией П.П. Семенова Тянь-Шаньского: «Россия. Полное географическое описание нашего отечества и дорожная книга для русских людей. Том 2». В увесистом фолианте перечислялись все известные памятники природы и истории региона, в том числе пещеры, и указывались пути подъезда или подхода к ним. Книга прямо-таки излучала аромат странствий.

Полагаться на сведения полувековой давности, учитывая бурную историю страны, было опасно, мне приходилось запрашивать о сохранности пещер местные власти. Замечательный ответ из одного краеведческого музея я храню до сих пор: «За время войны вход в пещеру обвалился. Раскапывать не пытались, так как пещера находится под охраной государства».

Итогом розысков были сведения более чем о десятке подземелий, разбросанных на пространствах Воронежской, Белгородской, Липецкой и соседних с ними областей. Их я и обследовал зимой 1956 года.

Все рукотворные пещеры вырублены здесь в меловых берегах рек. Первоначально они создавались тяжким трудом удалившихся от мира отшельников. Пещерные поселения, возникшие в 17–18 веках в потаенных тогда местах, давали начало основанным позднее монастырям. Излишне объяснять, что при советской власти монахи были изгнаны, пещеры осквернены и заброшены, а иные разрушены.

Люди вгрызались в землю во славу Божию. Силой воображения можно вызвать тени подвижников — первокопателей: изможденных, одетых в рубища, заросших волосами мужиков, чередовавших молитвы с тяжелой работой кайлом и киркой, клиньями и молотом. Расширял и завершал строительство муравьиный труд поколений монахов и послушников. Не только создание пещер в твердом грунте, но и добровольное заточение под землей, во мраке, сырости и холоде, было подвигом. Дорогой ценой достигалось торжество духа над грешной плотью, приближавшее страстотерпцев к Богу. Цель была высокая, но закрадывается сомнение: а не короче ли путь к небу тех праведников, что творят вокруг себя добро, а не посвящают жизнь самоистязанию?

Судя по старым книгам, длина иных монастырских пещер достигала нескольких верст, но я таких не встречал — общая совокупность ходов самых крупных из них не превышала нескольких сотен шагов. Некоторые из подземелий состояли из одного длинного коридора высотой чуть более двух метров, который иногда кончался тупиком, но чаще бывал сквозным, имевшим два или более выхода. Самые обширные пещеры представляли собой систему ходов, соединявших крохотные комнатки-кельи. О суровом быте обитавших тут аскетов напоминали лежанки — отходившие от стен келий невысокие меловые монолиты, напоминавшие формой гроб. В состав нескольких пещер входили просторные залы подземных церквей; для укрепления их сводов строители оставляли столбы-колонны из мела.

Многие пещеры имели несколько этажей, расположенных друг над другом. Там, где их соединяли крутые коридоры, в полу были вырублены аккуратные ступени, встречались даже винтовые лестницы. Строители умели сочетать дух аскетизма с радующим глаз

обликом подземных покоев. Правильность арок сводов, белизна и гладкость потолков и стен создавали впечатление чистоты и суровой торжественности. Вид портила позднейшая копоть от факелов, отбитые углы и многочисленные надписи типа «Здесь был Вася» — намалеванные, процарапанные, а то и глубоко выбитые. Меловым пещерам свойственна особая акустика — шаги звучат тут не глухо, а будто звенят. Хоровое пение и благовест, если колокольный звон допущался в подземных храмах, должны были звучать здесь особенно мощно и красиво.

Зимняя температура в меловых подземельях определялась их разветвленностью и числом входов-выходов. Раньше в наружных проемах несомненно стояли двери, затем исчезнувшие. Из-за этого в пещерах гуляли ледяные сквозняки; особенно свирепая тяга ощущалась там, где входы располагались на разной высоте. Не выстуживались лишь закрытые от сквозняков части пещер, где температура воздуха составляла 4–8°.

Искать летучих мышей в меловых пещерах было легко благодаря сравнительно небольшим размерам подземелий, малому числу трещин в стенах и потолках, и их белому цвету, на котором контрастно выделялись зверьки. Зимующие рукокрылые держались в затишных местах, куда не достигал сквозняк, а в продуваемых коридорах встречались только в глубоких трещинах и нишах, где сохранялась положительная температура.

Отправляясь в поездку по Средней России, я мечтал обнаружить там крупные зимние скопления летучих мышей, доселе не известные науке. Тщеславное желание не сбылось: ни в одной из здешних пещер я не нашел больше 15 зимующих зверьков. Беден был и их видовой состав — ушаны, водяные ночницы, редко прудовые ночницы. После богатых зимовок рукокрылых в окрестностях Ленинграда итоги моих поисков оказались скромными.

В чем была причина этого, однозначно объяснить трудно. Бедность состава животных могла быть отчасти связана с малой лесистостью региона, так как многие виды рукокрылых тесно связаны с древесной растительностью. Низкая же их численность, скорее всего, была следствием распугивания (иногда, наверно, и прямого уничтожения) зимующих зверьков подростками — все здешние подземелья широко известны и легко доступны для посещения. Это подтверждали рассказы старожилов, помнивших о былом изобилии летучих мышей в некоторых из осмотренных пещер.

Сенсационные открытия не удались, однако полученные сведения были для меня полезны и интересны. Зимующие летучие мыши оказались здесь те же, что и под Ленинградом. Начал вырисовываться состав оседлых для средней и северной полосы Европейской России видов рукокрылых, не покидающих на зиму область летнего обитания. Выявить его и было одной из моих главных задач.

В походные дневники того времени я заносил только рабочие записи. Поэтому могу рассказать лишь о нескольких эпизодах моих странствий, глубже других врезавшихся в память.

Я надеялся, что путешествовать по обжитой Средней России окажется легко, но подвела погода. Первые дни стояла оттепель и шел дождь — мне запомнился переход через Дон по щиколотку в воде, выступившей поверх льда. Потом резко похолодало, ветер закрутил над степью густо падавший снег. Из-за бурана машины на дорогах остановились, сутки я переждал непогоду в случайном пристанище. Утро после метели выдалось ясное, ветреное и морозное — температура упала почти до тридцати градусов. Шоферы с попутных машин загуляли, и продолжать поездку не спешили. Тридцать километров до нужного мне поселка я решил по молодой нетерпеливости одолеть пешком.

Однообразная белая равнина не радовала глаз: не видно было ни деревьев, ни построек, лишь торчали из снега за обочинами покосившиеся стебли кукурузы, подсолнечника и другое будылье. Струи поземки бежали навстречу по обледеневшей дороге, переметеной лишь в низинах. Совместное действие мороза и пронзительно-го степного ветра я ощутил быстро. Лицо стыло так, что пришлось закрыть рот и щеки шарфом. Потом холод добрался до причинного места — сперва его будто жгло огнем, затем оно онемело. Я снял с шеи теплый шарф и продел его между ног, закрепив спереди и сзади под брючным ремнем. Пострадавшее место начало отходить, но стала нестерпимо мерзнуть шея. Пришлось снять с ноги теплую портянку и ею заменить шарф. Шея согрелась, но застыла нога — всю дорогу я перемещал с места на место разные утеплители. К концу пути я так устал и озяб, что сел отдохнуть у придорожной скирды. На ее затишной стороне казалось чуть теплее, сладко ныли ноги и намятые рюкзаком плечи, шуршали соломой ветер и мыши, мысли о нездешнем туманили сознание, и незаметно я уснул. Спасла меня первая за день машина, рискнувшая торить дорогу — с нее меня заметили, разбудили и довели последние километры до места.



Вход в Белогорскую пещеру, куда я стремился, оказался за оградой зернохранилища, устроенного в бывших монастырских постройках. Старик-сторож и его жена отказались пустить меня на "охраняемый объект" и гнали вон из сторожки. Уходить в морозную ночь на поиски другого пристанища сил у меня уже не оставалось. Чтобы угодить недоверчивым старикам, я догадался вспомнить о прошлом. Перед отъездом я прочел в старинной брошюре историю здешнего Белогорско-Воскресенского монастыря. Стоило назвать имена Марии, Ивана и Андрея, первых копателей пещер, как лица моих гонителей расцвели. Они жадно меня слушали, перебивали своими дополнениями, требовали новых подробностей, которые приходилось уже выдумывать. Меня пригласили ночевать, обогрели, накормили и разрешили смотреть пещеру. Старая легенда в устах чужака, к тому же молодого, отомкнула сердца хозяев. Впервые я узнал, как ценят пожилые люди знание прошлого их родных мест, давно забытого и не востребованного при советской власти. В дальнейшем я не раз входил таким способом в доверие к местным жителям.

Дивногорские пещеры были последней точкой моего путешествия. Над местом впадения Тихой Сосны в Дон взметнулись высокие меловые склоны, украшенные причудливыми скалами — «дивами». В этих склонах и вырублены пещеры. Для работы они оказались мало интересными из-за сильных сквозняков, однако в одном из подземелий я сделал поразившее меня открытие. В углу подземной церкви висела на проволоке потухшая лампада. Луч фонаря высветил под ней табурет, застеленный вышитым полотенцем, икону в окладе и горку даров — шоколадные конфеты в нарядных обертках, горсти монет и мелкие бумажные деньги. По тем нищим временам эти подношения составляли для деревенского подростка целое богатство, и я подивился их сохранности в столь безнадзорном месте. Не знаю, кому предназначались дары, но я добавил к ним и свой рубль.

Давно упраздненный и оскверненный храм оставался для кого-то святым местом, сюда тайно приходили молиться. Мне представилось, как по крутой и скользкой тропе пожилые люди трудно сходят ко входу в пещеру, прикрывают огонек свечи или коптилки от ветра и пробираются сквозь ледяной холод подземелья к самодельному алтарю. В подземном храме продолжала жить гонимая в те годы вера.

Вход в последнюю пещеру, называвшуюся, как помнится, именем святой Ульяны, находился под самой вершиной крутого и высокого

склона. На небольшую площадку перед ним я удачно сбежал, сделав несколько быстрых шагов. Вернуться обратно оказалось куда труднее. Склон покрывал сплошной лед, лишь тонкий слой снега припудривал его черную скользкую поверхность. Подошвы моих кирзовых сапог опасно скользили при каждой попытке двинуться вверх.

От пещеры открывался широкий вид на окрестности. Далеко внизу, у подножия голых склонов Дивных гор, тянулась линия железной дороги, за ней чернели кupy деревьев в пойме невидимой отсюда реки. Меленькие за дальностью фигурки рабочих подчищали лопатами края канавы, проходившей вдоль невысокой железнодорожной насыпи.

Я топтался в нерешительности. А что, если не возвращаться наверх, к тропе, а съехать вниз на заднице, притормаживая и руля каблуками? Идея показалась удачной. Я сел, заправил под себя полы куртки и, как в детстве на ледяных горках, решительно заелозил к краю склона.

С первого мгновения спуска меня опрокинуло навзничь и понесло плашмя. Торможение не получилось, с возраставшей быстротой я несся вниз, вздымая снежную пыль и видя над собой лишь сумрачное небо. Никогда мне не приходилось скользить с горы на такой бешеной скорости и без возможности влиять на события. Я успел только понять, что в канаву вдоль железной дороги меня внесет вперед ногами, и они должны сломаться при этом, как спички. "Господи, пронеси!" — зывала моя неверующая душа.

Я сжался в ожидании страшного удара, но увечьем спуск не завершился. Вмешалось ли в дело Провидение или сработали законы механики, утверждать не берусь, но меня подняло в воздух, пронесло над канавой и опустило между рельсов, под ноги идущим по шпалам женщинам-рабочим. Я ошупал себя, но серьезного ущерба не обнаружил. В лохмотья превратились рукавицы, которыми я хватался за склон, вмерзшие в лед кусочки мела порвали штаны, в царапинах был и зад. От моего неожиданного явления бабы побросали инструменты и с визгом разбежались. С опаской они вернулись к упавшему с неба парню, по моде тех лет заподозрили во мне шпиона и стали требовать документы.

С рабочими я быстро поладил. Ничто не могло испортить моего настроения — я остался цел, работа была закончена, а в кармане лежал билет домой. Впереди меня ждали новые странствия: поиски зимовок летучих мышей в Поволжье и на Урале.

# Помогите, тону!



Широкая излучина Волхова белела нетронутым снегом. Предыдущие дни стояла оттепель, но с вечера подморозило и насыпало свежего снежка. Сапоги легко продавливали тонкий слой наста, и за мной тянулись темные, налитые водой следы.

Перейти на другую сторону реки нужно было непременно, но состояние льда мне не нравилось. Вернуться и пойти в обход? Я стал уговаривать себя, что лед на Волхове всегда в это время крепок, вчера на моих глазах реку переезжал по зимнику конный обоз. Успокоенный этим, я решительно зашагал вперед.

Лед не выдержал вблизи середины реки. Внезапно я очутился по грудь в воде: руки сами выбросились вперед и дали опору телу. Особого беспокойства я не испытал. Первым чувством была досада, что пропало утро, теперь не миновать идти назад сушиться. Чтобы выбраться, я подтянулся на руках и попытался закинуть на лед ногу, но край льда обломился, и я снова очутился в воде. После нескольких неудач я стал хитрить — шире расставлял руки и усиливал нагрузку на них очень плавно, без рывков. Снова и снова я повторял свои попытки, но как осторожно не пытался действовать, пропитанный водой лед не выдерживал. С шелестом он рассыпался на прозрачные длинные призмы, края которых в кровь резали пальцы.

Для опоры можно было положить на лед ружье, но оно висело за спиной, зацепилось за рюкзак, и снимать его одной рукой было неловко. После долгих усилий мне удалось передвинуть ружейный ремень сперва на правое плечо, а затем и на локоть. Когда я стал перехватывать свою одностволку левой рукой, она выскользнула из окоченевших пальцев и беззвучно ушла в воду.

В другое время потеря оружия потрясла бы меня, но в тот момент была уже не до него. Приключение перестало казаться таким невинным, как вначале. Вскоре я сообразил, что напрасно пытаюсь вылезти на лед в направлении противоположного берега. Позади было надежное место, по которому я только что прошел. Обернувшись, я обнаружил, что сделанная мною полынья достигает уже нескольких метров.

Полупустой рюкзак за спиной помогал держаться на воде, поэтому назад по полынье я фактически плыл, лишь придерживаясь ручкой за ее кромку. Увы, и здесь меня ждала неудача. Целостность льда была нарушена, и он перестал выдерживать тяжесть человека.

Размеры полыньи быстро увеличивались. Во все стороны, куда бы я не пытался вылезать, края льда обламывались и с плеском исчезали в черной воде. Стремительное течение реки тянуло под лед, вытягивало мои ноги вдоль его нижней поверхности. Чтобы оставаться в вертикальном положении, приходилось все время подрабатывать ногами. Течение было так сильно, что стянуло с одной ноги резиновый сапог, туго надетый на шерстяной носок и портянку. Поначалу я как-то не ощутил холода, но скоро он дал о себе знать. Первыми перестали гнуться пальцы и онемели кисти рук. Потом ледяным обручем сдавило грудь, от холода стало перехватывать дыхание, воздух проталкивался в легкие с судорожным всхлипом, тело сотрясала неукротимая дрожь. Вместе с теплом уходили силы и вера в спасение.

В особых случаях время очень емко, но, думаю, я барахтался в полынье не меньше получаса. Постепенно мною овладело тоскливое чувство полной безнадежности. Страх не было. Того пронзительного страха, от которого затемняется сознание и человек перестает владеть собой. Голова работала четко и ясно. Пришла трезвая мысль, что все кончено, из полыньи мне не выбраться, можно убирать руки и не сопротивляться дальше течению. Но слишком мрачной смотрелась тяжелая черная вода, чтобы отдаться ей добровольно. Я представил себе, как окажусь в сумраке под льдом, как буду биться об него головой и скрестись пальцами в напрасной жажде глотнуть воздуха, пока не помутится сознание и в легкие не хлынет ледяная вода. Нет! По сравнению с этим серое небо над головой казалось таким родным и желанным, что самому отказаться от него я был еще не готов.

Оставалось последнее — звать на помощь. Это казалось совершенно бессмысленным, берега Волхова зимой безлюдны. На левом

берегу, от которого я шел, не было ни дороги, ни жилья, на правом темнели постройки заколоченного до лета пионерского лагеря. Но утопающий, как известно, хватается за соломину. Крикнуть первый раз было мучительно трудно и стыдно, из глотки вырвались лишь слабые сдавленные звуки. Потом дело пошло, и, без надежды быть услышанным, я оглашал пустынную реку отчаянным призывом: «Помогите, тону!»

Самое удивительное, что вскоре я заметил две человеческие фигуры с длинным шестом, сбегавшие с берега на лед. Близость помощи сразу придало сил, немного отступил, как будто, даже холод. Я стал медленно передвигаться вдоль кромки полыньи навстречу спасателям. Теперь главное, чтобы и они не провалились, я крикнул мужикам, чтобы не подходили близко. Они услышали и приближались очень осторожно, толкая в мою сторону шест. Я начал проламываться к нему, налегая на лед тяжестью тела, и вдруг мне удалось вылезти из воды! При очередной попытке лед не обломился и я, боясь даже вздохнуть, распластался на его поверхности, а потом медленно пополз навстречу близкому концу шеста. «Держись за жердь, подтянем», — кричали мне спасатели. Окоченевшие руки меня не слушались, пришлось заползти на шест грудью и животом. И вот уже я стою на прочном льду.

С меня потоком лилась вода, одна нога была босая, другая в сапоге. Зубы выбивали дробь, но я все пытался объяснить мужикам, что сумел вылезти на лед самостоятельно, без их помощи. Вникать в это они не стали и заторопились к берегу. Минут через десять тропинка привела нас к невидимому с реки дому.

Спасенный утопленник — явление редкое и любопытное, смотреть на меня сбегались невесть откуда взявшиеся женщины и ребяташки. В молодости я был очень стеснительным, но тут зрители совсем не затрудняли меня. Ставив с их помощью мокрую, уже прихваченную морозцем одежду, я, в чем мать родила, прижался к русской печке, впитывая ее жар окоченевшим телом. Меня теребили, расспрашивали, но ответить я уже не мог. От холода произошел спазм мышц гортани, из горла, как у негомо, с трудом вырывалось лишь нечленораздельное мычание. Принесли водку, подряд споили мне две четвертинки, закутали в тулуп и поместили на печь, где я сразу уснул.

Проснулся я совершенно согрешшимся и с вернувшейся речью. Мне объяснили, что очень сильное течение размывает на излучине

Волхова лед, и в оттепели он становится опасным. Особенно после снегопада, когда свежий снег закрывает темные полосы промоин. Там уже неоднократно тонули зимой люди, лошади и даже трактор. Случайно услышав мои крики, мужики сразу поняли, в чем дело.

Станным образом, ни воспаления легких, ни простуды со мной не случилось. Мучили только ознобленные руки: распухшие и изрезанные льдом, с запекшейся под ногтями кровью, они с неделю болели и плохо меня слушались. В остальном все кончилось благополучно. Надо бы радоваться счастливому спасению, но меня мучило недовольство собой. Было стыдно, что пришлось звать на помощь.

Почему кричать «Помогите!» так трудно и унижительно даже в минуту смертельной опасности? Казалось бы, попавшему в беду человеку естественно рассчитывать на помощь окружающих. Но тут есть свои тонкости. Помощь случившегося рядом товарища мы принимаем, как должное — вероятно потому, что она предполагает взаимность. Иное дело кричать в надежде, что тебя услышат неведомые люди. К этому нас побуждают лишь крайние обстоятельства, состояние полного отчаяния. Как не удивительно, но даже в такие моменты человек способен думать, как он выглядит со стороны. Однако главное, конечно, не во внешней, а внутренней оценке. Криком о помощи мы признаем свое поражение, неспособность справиться с обстоятельствами, и тем роняем себя в собственных глазах.

Именно так я и оценивал свое поведение в полынье. Потребность оправдаться возникла у меня сразу, как только я вылез из воды на лед. Важно было понять: мог ли я спастись самостоятельно, без стыдных криков на всю реку?

— Нет, — отвечал я, — не мог. Я выбился из сил, окоченел, и сумел выбраться из полыньи только потому, что приближение людей оживило надежду и придало мне второе дыхание. Лукавишь, — возражал я самому себе. — Ты выполз на лед вполне самостоятельно, хотя и после появления спасателей. Значит, сил на это хватало, а надежный лед был рядом. — А кто мог знать, что он близко? Лучше было тонуть? — А если бы на крики не отозвались? Ведь услышали их случайно! На последний вопрос ответа не было, но общий вывод был сделан не в мою пользу. Спасти можно было и без посторонней помощи, у меня просто не хватило духа бороться в одиночку до конца. Если бы я проявил больше выдержки, если бы не метался в разные стороны, а упорно двигался в одном направлении до встречи с крепким льдом, то смог бы опередить действие холода, сковавшего силы и волю.

Обвинение в малодушии больно ранило мое молодое тогда самолюбие. О приключении я никому не рассказывал, но самоедские мысли долго преследовали меня. Думаю, что они оказались не совсем бесполезными. Я жаждал самоутверждения и мечтал о новых испытаниях. Они не заставили себя ждать, но совсем в другой области. Каждый знает трудные житейские проблемы, с которыми необходимо справляться самому, но так хочется объявить неразрешимыми без постороннего участия. И если порой мне удавалось выходить из них с честью, то крупица успеха, возможно, была обязана зароку не надеяться на помощь, а самому пробиваться до надежного льда.

Купание в Волхове имело одно неприятное последствие: у меня появилась боязнь льда. Когда я барахтался в ледяной воде, то, казалось, не испытывал страха. Он пришел позднее. С надежной высоты городских мостов я с особым чувством смотрел на полыньи в Невском льду. Было что-то завораживающее в их черной глубине, в подернутой свиллями течений масляной глади. Я всматривался в их разъеденные водой закрайки, и на миг возвращалось чувство страшного холода и смертной тоски, будто запечатленные в памяти тела.

Охота — великий целитель. Без переходов через замерзшие воды на зимней охоте не обойтись, а отказаться от нее я был не в силах. Пришлось переламывать страх. Вначале я ступал на лед робко, с оглядкой, потом привык, а кончил тем, что опять стал рисковать. Ночная охота с лайкой привела меня на неокрепший осенний лед псковских озер, по нему я прошел с собакой десятки километров. Особенно тревожно бывало, когда дожди смывали снег, покрывали лед водой, и полыньи становились невидимыми на его блестящей темной поверхности. В глухих местах, да еще ночью, ждать сторонней помощи уж точно не приходилось, но судьба сберегла меня от второго крещения в ледяной купели. Верность данному в молодости зароку проверить не удалось.

Сейчас боязнь уронить себя в чужих глазах прошла, и я без утайки рассказал о давнем приключении. Думаю, что оно не лишено общего интереса, ибо ступать на неверный лед, полагаясь на знаменитое «авось», в крови у русского человека. Как, впрочем, и склонность к самоедству при недовольстве собой.



## **Дуня — моя последняя охотничья собака**

Щенка таксы, нареченного Дуней, мне подарили в пожилом возрасте, когда заводить серьезную охотничью собаку было уже поздно. Такса слишком серьезной не казалась. Ее небольшие размеры, декоративная внешность и особая любовь к этой породе дам свидетельствовали скорее об обратном. Дуня относилась к сравнительно крупным «барсучьим» таксам традиционного, черного с подпалинами, окраса. Предстояло выяснить, на что она может сгодиться по охотничьей части.

Таксы выведены как норные собаки. Охота за пушным зверем волновать меня перестала, но опробовать Дуню по ее породной специальности было интересно. Боюсь, я сделал это неквалифицированно. Без всякой подготовки я подвел годовалую Дуню к норе, обитаемой, вероятно, енотами. Уговаривать собаку не пришлось, она, не колеблясь, ушла под землю, азартно залаяла, но скоро, пятясь задом, вернулась назад – в норе такса явно встретила противодействие и испугалась. Больше таких опытов я не делал, но их повторяла сама Дуня. Равнодушно пройти мимо лисьих и барсучьих нор собака не могла, она обязательно в них лезла и задерживалась на неопределенно долгое время. На зов в таких случаях Дуня не реагировала, ее можно было только перехватить, когда она перебежала по поверхности от одного входа к другому, и унести на руках. Раз после долгого ожидания я плюнул и ушел, оставив собаку в норе, и вернулся за ней только к вечеру. Она пробыла под землей восемь часов, ухо у Дуни было порвано, ее буквально шатало от усталости, но по своей воле



уходить от норы она не желала. Из этого я заключаю, что в нашей Дуне пропал хороший норный охотник.

Охотничью страсть таксы я хотел использовать иначе. Главные надежды возлагались на помощь Дуни весной, на тяге вальдшнепов. Из-за наступавшей глухоты я стал плохо слышать подлетающую птицу. Воображение рисовало, как умная собачка будет тихо сидеть рядом и выразительно поворачивать голову в ту сторону, откуда летит вальдшнеп, и я успею подготовиться к выстрелу. Найти в сумерках сбитую птицу не всегда легко, а такса ее отыщет и принесет мне. Дуня казалась хорошим компаньоном для этой спокойной и красивой охоты, радующей душу охотника особой лиричностью, прелестью затихающего к ночи весеннего леса.

Действительность опрокинула эти мечтания. Дуня мигом сообразила, что меня волнует хорканье налетающего вальдшнепа, за которым следует страстно желанный ею выстрел. Свою роль в этой охоте она поняла иначе, чем я. Таксы — маленькие гончие. Услышав летящую птицу, Дуня с визгом мчалась за ней, пока обе они не исчезали со слуха. Я стал привязывать собаку, но та рвалась с привязи, избежать порции ее визгливого лая не удавалось. К нему добавлялись и мои обращенные к Дуне проклятья. Какая уж тут лирика и тишина! Товарищи по охоте возненавидели таксу и старались избегать ее шумного общества.

Не менее оригинально обращалась Дуня со сбитой дичью. Найдя вальдшнепа, она закапывала его носом в палые листья, притом так успешно, что обнаружить птицу становилось невозможно. Словом, присутствие таксы на тяге приносило одни огорчения. После каждой охоты я клялся никогда больше Дуню на тягу не брать, но ей самой эти вечерние вылазки очень нравились, она молитвенно на меня смотрела, вилась вокруг ног, скулила, мое сердце не выдерживало, и весь спектакль, к ярости товарищей, повторялся.

Не более успешным было использование Дуни на утиной охоте. Воду она ненавидела и согласна была перемещаться по ней только на лодке. Большую часть времени такса проводила на носу, внимательно рассматривая плавающие на поверхности воды коряги, сор, хлопья пены. Иногда она пыталась их хватать, при этом нередко сваливалась за борт в ненавистную ей стихию. Сама забраться в лодку Дуня не могла, приходилось выуживать ее за шиворот. В качестве благодарности она бурно отряхивалась, забрызгивая все вокруг. Когда перед носом лодки взлетала утка, или мы гонялись за

подранком, неизменно звучал азартный Дуний визг. Она дожидалась момента, когда добытая утка окажется на дне лодки. Здесь такса ее хватала, злобно давила, а потом ревниво охраняла «свою» добычу. Помню единственный случай, когда собака действительно мне помогла: сбита утка исчезла в густых прибрежных зарослях, и после долгой возни Дуня выгнала ее на меня.

В лесу Дуня вела себя в молодые годы очень самостоятельно, постоянно сходила с тропинок и пропадала минут на 10–15. Она не просто бегала, а явно была занята поиском. Кого хотела найти Дуня, остается ее тайной. Порой слышался лай, а то и азартный тонный визг таксы, но обнаружить его причину мне не удавалось. Скорее всего, она загоняла с земли на деревья белок или встречала зайцев, в других случаях, наверно, поднимала рябчиков. Их шумный взлет очень волнует Дуню и сейчас, она неизменно подбегает к месту, откуда поднялись птицы, и отдает на их запах голос. Однако не было случая, чтобы собака подняла боровых птиц с пользой для охотника.

Я убедился, что Дуня одарена сильной охотничьей страстью, но перенацелить ее со зверя на птицу мне не удалось. Должен, однако, признаться, что я учил таксу мало и плохо, более старательный натасчик добился бы, возможно, лучших результатов.

Помощник на охоте из Дуни не вышел, но спутник для поездок за город получился хороший. Вместе мы провели на охоте много счастливых дней, хотя каждый получал удовольствие по-своему. Собака выезды на охоту обожает. Стоит достать рюкзак и резиновые сапоги, как она дуреет от восторга и дежурит у двери, боится, что ее забудут. С восторгом врывается в машину сына, который возит нас на охоту, но здесь начинаются сложности. Дуню укачивает, и хотя мы не кормим ее перед выездом, обивка автомобиля нередко страдает. Любопытно, что собаку тошнит только по дороге в одну сторону, на обратном пути никаких проблем не возникает.

В городской жизни охотничья страсть Дуни переключалась на кошек. Маленькую собачку жаль было прогуливать на поводке, в безопасных от транспорта местах я давал ей волю. Этим Дуня и пользовалась. Обнаружив кошку, она переставала слышать мои запреты и с неистовым визгом мчалась вдогонку; остановить ее окриком было невозможно. Дворовые кошки часто спасались от таксы в подвалах, и не раз Дуня исчезала в их чреве вслед за беглянками. Мысленно я прощался с собакой, но Дуня всегда находила выход наружу и отправлялась на поиск новых приключений.

Охотничью страсть Дуни я был готов уважать, но ее откровенное непослушание терпеть было невозможно. Требовалась примерно наказать собаку, но это долго не выходило: когда такса сама возвращалась ко мне после погони, наказывать ее было поздно, а до этого никак не поймать. Развязка наступила поздним вечером, когда Дуня загнала кошку на дерево за оградой нашего двора. Лай и визг таксы грозили разбудить засыпавший уже дом, отозвать же собаку, как всегда, не удавалось. Пришлось лезть за ней через ограду, при этом я порвал плащ. «Ах ты, дрянь! — вскипел я. В мои семьдесят лет я должен, как пацан, лазать за тобой через заборы». Дуня металась вокруг дерева, я — за ней, но она бдительно сохраняла дистанцию безопасности. Пришлось стряхнуть кошку на землю и в следующий миг упасть, как вратарь на мяч, на кинувшуюся вдогонку собаку. Я с наслаждением отлупил тогда Дуню, после чего такса стала вести себя приличнее, по крайней мере, в городе.

Отводит душу она в деревне, где мы живем летом — нравы там проще, простора больше, и я предоставляю собаке свободу. Дуня по многу часов облаивает кошек, загнанных ею на дерево или забор. При этом коротконогая такса способна очень высоко прыгать: я видел раз, как она повисла на хвосте недостаточно осторожной кошки.

Ловить кошек Дуне удается редко, да и справиться с взрослыми Васьками и Мурками ей не под силу. Мне кажется, что главное удовольствие для таксы гнать их с голосом, чем дальше, тем лучше. В преследовании кошек Дуня проявляет редкую настойчивость. Мне пришлось наблюдать травлю кошки двумя таксами: кроме Дуни в деле участвовал ее старший брат. Дуня нашла кота в высоком бурьяне и с азартным визгом помчалась за ним. Кобель к ней присоединился, но «смычек» из такс быстро потерял кота, а кобель соскучился и вернулся на дорогу. Дуня вновь обнаружила беглеца, и все действие повторилось. Потом она нашла кота в третий раз, но ленивый кобель ушел далеко вперед и в гоне больше не участвовал. Разное поведение собак могло объясняться двояко: либо охотничья страсть Дуни была сильнее, либо она проявила большую добросовестность, свойственную женскому полу.

Второй по значению объект Дуниной городской охоты — вороны. В начале июня птенцы ворон покидают гнезда, и моя такса начинает старательно обыскивать кусты и высокотравные газоны. В таких местах прятались нелетные вороны слетки, которых собака неизменно давила. Поднимался чудовищный шум: на крики Дуниной жертвы

слетались все соседние вороны, хором орали, грозно пикировали на собаку, да и на меня тоже, хотя бить клювом все-таки не решались. Разжать челюсти и выпустить добычу Дуня в молодости отказывалась, мне приходилось пристегивать ее на поводок и вести по оживленной улице с зажатой в зубах вороной, подметавшей мостовую крыльями. Сколько дурных слов в Дунин и свой адрес я при этом наслушался! Объяснить публике, как вредны непомерно размножившиеся в городах вороны, было бесполезно.

Развлекалась Дуня с воронами и другим способом. В парках, где собирались вставшие на крыло вороньи выводки, такса облаивала рассеившихся на ветвях птиц. Моей обязанностью было сгонять их с деревьев, Дуня с визгом преследовала ворон, «сажала» на другое дерево, и все повторялось. Характерно, что собака всегда гоняла одну, выбранную ею на глаз птицу, не обращая внимания на прочих. Мне кажется, что такса лучше видит и больше пользуется зрением, чем другие охотничьи собаки, например, спаниели и легавые.

Постоянным вниманием Дуни пользуются крысы. В деревне она долгими часами возится в подвале, а в комнате на слух следит за движением грызунов, иногда даже пытается их «копать» — скребет когтями по доскам пола. Поймать ловкого зверька таксе трудно, помню единственный случай ее успешной охоты. Огромная крыса выскочила из-под батареи отопления на городской лестнице, собака молниеносно ее придушила и вышла со своим трофеем на улицу. Прохожие встречали ее ропотом восхищения. Он компенсировал слова, которых мы наслушались из-за погубленных таксой ворон.

От других бывших у меня собак Дуня отличается особой склонностью забиваться в труднодоступные места. В нашем деревенском доме она обнаружила тесную дыру в полу под русской печкой и долго удивляла нас чудесным появлением на воле при запертых дверях. Не чужды Дуне и таланты высотника. Мне довелось снимать ее из-под крыш высоких сараев, куда она забиралась по поленицам дров и откуда не могла сама слезть. Высота давалась таксе нелегко, я видел, как по щели между досками стены и дровами она поднималась в распор. Мотивы стремления собаки вверх были не совсем понятны: возможно, что она искала там кошек, но я не исключаю и чисто спортивных целей. Отличается Дуня и другим замечательным свойством: отпущенная с поводка, она безошибочно находит пятый этаж, на котором мы живем. Все жившие у меня до того собаки выше вто-

рого этажа считать не умели и постоянно ошибались в выборе лестничной площадки.

Дуня проявляет сторожевые качества: лает на звонки и стуки в дверь и входящих в дом незнакомцев. Так происходит в присутствии кого-нибудь из членов семьи. В отсутствии хозяев Дуня становится молчалива и на посторонние шумы не реагирует. Сложный характер Дуни проявляется и в отношениях с себе подобными. К чужим такса относится с доброжелательным интересом. С другими собаками она со щенячьего возраста не играет, в ответ на их приставания злобно рывкает, а то и грозно щелкает челюстями. За это Дуня не раз получала взбучку от крупных сук, что не улучшило ее манеры. Во время пустовок заигрывает с самыми большими и грязными дворнягами, породистых же кобельков мелких пород за интеллигентность презирует.

Что из перечисленного характерно для породы, а что есть особенность только нашей Дуни, решать не берусь. Сейчас мы с ней сильно постарели, и страсть к охоте постепенно нас покидает. Дуню перестали волновать даже кошки: для вида она делает шаг в их сторону и ждет от меня запрещающих слов. В старости мы достигли с собакой полного взаимопонимания. Я всегда знаю, что ей нужно и что она собирается сделать, Дуня знает все то же самое про меня. Мне говорили про особый ум такс, но я смог оценить его только сейчас, когда упрямство и буйные страсти почти покинули Дуню.

За годы жизни с Дуней вкусы нашей семьи заметно изменились. Не оригинальная фигура, первоначально вызывавшая смех, стала казаться нам замечательной, таксы — лучшей в мире породой собак, а Дуня — красивейшей из такс. Даже сейчас, когда прекрасная Дунина морда поседела, а ее «талию» не вдруг сыщешь. В старости она очень мерзнет и зимой неохотно выходит на прогулки, для морозов ей шит туалет из рукава теплого дамского пальто. Для смеха он имеет воротник из белого кролика, что очень Дуне «к лицу», но собака упорно рвет и съедает мех, так что стать модницей ей не суждено.

В Дуне удивительно сочетаются повадки охотничьей и декоративной домашней собаки. С одной стороны, она ловит и свирепо давит всех посильных ей животных. С другой — будто создана для того, чтобы ее брали «на ручки». Высшее наслаждение для нее — спать на коленях близкого человека. Старая такса стала необычайно ласковой и не устает приставать к нам с требованием ее погладить

или почесать пузо, для чего валится на спину вверх лапами. Несмотря на почтенный возраст, сука продолжает играть дома с мячом, наша обязанность кидать ей его, а потом отнимать. Ни одна из моих прежних собак не смела забираться на кресла или диван. Тихой сапой, путем медленной, но упорной осады Дуня с помощью дам добилась этого права. И тут же отплатила за проявленную слабость: сильными лапами она копает в мягких сидениях себе логово, от чего обшивка мебели не становится целее.

Я понимаю, что все это — недопустимое попустительство. Но знаю и другое — если Дуня уйдет из жизни раньше меня, я буду казнить себя за обиды, нанесенные старушке-таксе. Дуня — моя последняя собака. Старость имеет свои законы: то, что Дуня просто существует рядом и дарит мне свою привязанность, — праздник для моей души и омрачать его строгостью я не смею.



# Непредвиденное путешествие



Событие, о котором пойдет речь, произошло в Волосовском районе Ленинградской области близ деревни Реполка в июле прошлого года. В том, что я рассказываю, нет ни слова вымысла. Случившееся со мной должно быть интересно и поучительно для многочисленных у нас любителей бродить по лесу за ягодами-грибами.

В то утро я поехал в незнакомое место собирать на болоте морошку. Отправился на пару часов, налегке, не взяв с собою даже куртки и мобильного телефона. В виде сопровождающего со мной ехал местный житель. Мы оставили его машину на дороге, сошли в болото, и тут же мой провожатый исчез. Я остался один в обществе собаки-таксы по кличке Федя.

Ягод было мало. Стояла редкая для наших мест жара, солнце палило, как в туркменской пустыне, болото гудело от туч кровососов, яростно нас атаковавших. Я решил не искать пропавшего спутника, а самостоятельно возвращаться на дорогу. Как по пути туда я сумел заблудиться, не могу понять до сих пор. Правильное направление подсказывало солнце, в кармане лежал компас, да и расстояние было недалеким. Не иначе, как мне напекло голову, и я плохо соображал, что делаю.

Мой путь к дороге сильно затянулся, да и лес перестал быть похожим на придорожный. Неожиданно я вышел на опушку, за которой расстилался обширный луг. Дорога должна была находиться за лугом, но пересечь его у меня не хватило сил: мешали густые заросли иван-чая и других некошенных трав высотой по грудь человека. Обходить луг было слишком далеко, и я решил возвращаться обрат-

но к болоту. Вместо сырого сосняка, где мы собирали ягоды, я очутился в красивом, почти парковом высокоствольном лесу. Темнело, пора было останавливаться на ночевку.

К ночлегу в лесу я подготовлен не был, на мне были надеты только майка и легкая рубашка. Я нашел две упавшие одна на другую сосны, подгреб сухой мелочи, зажег, и возле этого огня, постоянно его раздувая, продремал ночь. Устроиться рядом и греть меня Федя отказался. Всю ночь он воевал с комарами, а утром, когда опять налетели слепни, непрерывно клацал зубами в надежде их поймать. У меня эта охота шла успешнее, и убитых кровососов Федя жадно слизывал с моей ладони.

По настоящему заблудиться, да еще с вынужденной ночевкой, мне пришлось впервые, происшествие вызывало скорее досаду, чем испуг. Надо было решать, что делать. Весь вечер и ночь я вслушивался в темноту. Я знал, что меня обязательно будут искать, но ни крики, ни шум машин, или другие дорожные звуки до меня ни разу не донеслись. Я не слишком доверял своему слуху, но дома у родных имелось ружье, они могли догадаться сигнализировать мне выстрелами, хорошо и далеко слышными, но и стрельба не нарушала тишину леса.

Было похоже, что я слишком далеко отклонился от автомобильной дороги и тех мест, где меня могли искать. Я не люблю зависеть от чужой помощи, была жива обида на бросившего меня в болоте компаньона, и я решил выбираться самостоятельно. Карту перед выходом я не смотрел, но мне представлялось, что мы ехали по дороге примерно с запада на восток. Направляясь к болоту, мы свернули с нее на юг, так что дорога должна находиться от меня на севере. Путь до дороги не мог быть слишком долгим, много времени и сил на это не потребуется. Места вокруг считались глухими, близких деревень и других дорог тут не было.

К лесу я человек привычный и всегда был легок на ноги, но большие нагрузки мне уже не по плечу. Мне минуло 78 лет. Я инвалид, много лет живу без одного легкого. Подводит и слух, я не только стал хуже слышать, но и плохо определяю направление, откуда доносятся до меня сторонние звуки. Все это не казалось мне препятствием для достижения близкой цели, я чувствовал себя хорошо и бодро двинулся в путь.

Красивый парковый лес скоро кончился, начались сырые, обильные ветровалом ельники. Они чередовались с вырубками разного



возраста — одни густо заросли мелочью рябины и березы, другие более взрослым подростом. Идти мешали кучи древесных остатков, затянутых малиной, под ногами рушились гнилые пни, валялись брошенные полусгнившие бревна, а местами целые их груды, разбросанные в хаотическом беспорядке. Пришлось подобрать крепкий кол для опоры, но часто я пускал в дело и вторую руку, удерживая равновесие. К вечеру стало понятно, что скорость моего движения в таких условиях ничтожно мала, и надежда быстро выйти к дороге стала таять. Возвращаться назад было стыдно, да и поздно, я боялся совсем при этом закрутиться. Оставалось упорно двигаться вперед.

Пошел второй день пути. Я не переставал ждать появления дороги или признаков ее близости, но их все не было. Куда они исчезли, было непонятно, и я начал сомневаться в своих топографических расчетах. Скорее всего, решил я, дорога делает здесь изгиб и отклоняется дальше к северу, чем я ожидал. Путешествие неожиданно затягивалось, но меня это особо не пугало. Ни леса, ни одиночества я не боялся и был уверен, что раньше или позже выйду к цели. Куда больше меня волновала паника среди близких людей, неизбежно вызванная моим долгим исчезновением.

На третий день мне повезло попасть на более свежую вырубку и найти просеку, по которой с нее вывозили некогда лес. Она была сплошь изъедена глубокими колеями, уже заросшими молодым древесным подростом вперемешку с бурьяном, но по обочинам идти было удобнее, чем ветровальным лесом. По этой просеке я вышел на другую вырубку, а по ней на более свежую лесовозную дорогу со следами протекторов. Однако ездили по ней редко, местами дорогу перекрывали упавшие с обочины деревья. Я радовался, рано или поздно эта дорога обязательно должна соединиться с основной трассой, которую я искал, но в какую сторону к ней надо двигаться? Шума лесных работ нигде не было слышно. Сперва я пошел в северном направлении, но там дорога явно глохла, идти же к югу значило двигаться в ту сторону, откуда я пришел. Тут от основной дороги на северо-запад отошла сравнительно новая лежневка; вымощенная бревнами, она тянулась вдоль огромной свежей вырубки. Мы шли по этой лежневке очень долго. Нещадно палило солнце, через каждые 10 минут приходилось валиться в тень отдыхать. Я хотел не расставаться с лежневкой как можно дольше, но вместе с вырубкой она кончилась. Надо было возвращаться обратно, лес, очевидно, вывозили тем путем, по которому я сюда пришел.

Тут я проявил малодушие, тащиться обратно по раскаленной солнцем лежневке уже не было сил. А там опять гадать, в какую сторону идти дальше? Разведка нескольких километров дороги для молодого человека простое дело, для меня же она казалась непозволительной тратой сил. Я посмотрел на компас и решил продолжить движение к северу без помощи лесорубных трасс, благо с той стороны померещился далекий шум машины.

Ошибочность этого решения я почувствовал быстро. За кончившейся лежневкой мы попали в пойму какой-то мелкой речки. Много часов мы пробирались через глубокие вязкие лужи и болотца, перемежавшиеся сырыми кочками, старыми пнями и давно рухнувшими гнилыми стволами, все это густо заросло ольхой и молодыми липами. Радостным местом в этой гнилой низине оказался только чистый участок речки с песчаным дном и мелькавшими над ним мелкими рыбками — из нее я впервые с удовольствием напился. На большой кочке, окруженной водой, нам пришлось заночевать.

Утром болота были преодолены, и мы опять попали на старые, трудно проходимые вырубки. Еще накануне я обратил внимание, как изменил поведение Федя. При переходах через водоемы он принимался громко выть, а на следующий день закатывал концерт при каждом подъеме после остановки на отдых. Во время четвертой ночевки собака исчезла, она не захотела продолжать путешествие. Было обидно, но я сознавал разумность Федино выбора. Чем-либо помочь уставшей и голодной собаке я был не в состоянии.

Я уже не сомневался, что иду не туда, куда нужно, иначе давно бы вышел к дороге даже при моей тихоходности. Если менять направление, то на какое? Этого я не знал, и решил продолжать двигаться к северу. Для заблудившегося человека опасно паниковать и метаться в разные стороны. Тут не сибирская тайга — двигаясь в одном направлении, я рано или поздно должен был достичь дороги, пусть даже не искомой, а любой другой. Мне ничего не оставалось, как продолжать начатый маршрут.

Кончалась первая неделя моего странствия. Я сознавал, что мой путь приобрел теперь классический фольклорный характер — «иду туда, не знамо куда», что не прибавляло оптимизма. Помнится, однако, что ни чувства беспомощности, ни страха я не испытывал. В глубине души жила вера, что в лесу, который я всегда так любил, пропасть я не должен. Живо было и любопытство, что ждет меня впереди, какие еще козни придумает для меня леший, лесной хо-

зяин. Было понятно — если я сломаю или вывихну ногу, что на захламленных вырубках очень вероятно, то действительно буду обречен. Пока же ноги исправно меня слушались, особого волнения я не чувствовал и продолжал верить, что выйду в конце концов туда, куда требуется.

Начальные яркие впечатления сменились однообразием следующих дней. Бесконечные зарастающие вырубки сменялись участками нетронутого леса. Выросшие в тесноте деревья, ранее защищенные от ветра, легко валились бурями и создавали по краям валы из трудно проходимого ветровала. Передвигаться в высокоствольном лесу по компасу было трудно. Далеких ориентиров нет, выберешь впереди приметное дерево, но прямо дойти до него не удастся, надо обходить разнообразные препятствия, а после нескольких обходов оказывалось, что я сильно отклонился от нужного азимута. Выбираешь новое дерево, и вновь уходишь в сторону, так что фактически я двигался не по прямой линии, а мелкими зигзагами. Удавалось следить лишь за общим направлением движения.

Красивый старый лес встречался редко. Места, по которым я шел, были мрачными. Не слышно было птиц, даже вездесущих воронов, не взлетали выводки боровой дичи. Любоваться оставалось лишь следами лосей и нередких тут медведей.

Интересно, что почти весь долгий путь мне не попадался мусор в виде разнообразной пластиковой тары и пакетов, встречать которые мы привыкли сейчас везде. Я удивлялся этому, пока не сообразил, что большинство вырубок производилось до того, как эти материалы получили у нас всеобщее распространение.

Кормиться мне было нечем, разве что наберешь горсточку малины, но и она не шла — разжуеть и плюнешь. Станным образом, до самого конца путешествия я от голода не страдал. Иногда воображал, будто ем что-нибудь вкусное, но лишних тягот эти мечтания не приносили. Труднее решался вопрос с питьем. Лето выдалось жарким, большинство обычных в лесу мелких водоемов превратились в жидкую грязь. Одним из важных источников воды оказались для меня очень глубокие глинистые колеи, оставленные некогда тракторами на лесовозных дорогах. Прикрытые высоким бурьяном, они хорошо сохраняли влагу, хотя вид имели неприглядный. Лучшими из них были те, в которых водились клопы-водомерки, что свидетельствовало об их достаточной глубине. Зачерпнуть воду было нечем, ее приходилось сосать с помощью трубочек, срезанных из

стволов «медвежьей дудки». Но в середине пути мне повезло найти стеклянную баночку из-под майонеза еще советского образца. Этот сосуд, бережно мною хранимый, решил трудности с доставанием воды. Его недостатком была лишь прозрачность стекла, через него был слишком заметен бурый цвет зачерпнутой жидкости и плававшие в ней мелкие ее обитатели.

К началу пути у меня оставалось 5 сигарет, я растянул их на 4 дня. Особо необходимы сигареты были вечером, сразу после захода солнца, когда налетали полчища комаров. Отгонять их перед сном сигаретным дымом (а не шлепками ладони по телу) было великим благом. Раз я подвергся нападению более страшного противника. В болотистом лесу меня вдруг облепила туча мокрецов. Эти крохотные, жесткие на ощупь насекомые забиваются в глаза, нос и уши, и грызут слизистые оболочки, вызывая нестерпимый зуд. От них удалось сбежать, в других же местах эти мучители не встречались.

Я очень боялся дождей, после мокрой ночевки воспаление легких было бы мне обеспечено. К счастью дождей не было, хотя по вечерам часто ворчали далекие грозы, и падали с неба редкие капли. Ночевать в лесу я привык с костром, без огня не только холодно, но и скучно. Приготовление к ночлегу требовало немало времени и сил. Надо было заготовить много сучьев (что без топора трудно), но еще лучше найти и подпалить хворостом лежащий на земле ствол — пусть он только тлеет, а не горит, но тепло от него все-таки идет и легко раздуваются подложенные сверху сухие веточки. Важно было подготовить себе ровное место не слишком близко, но и не далеко от огня. От усталости и бескормицы я быстро худел и стал вроде «принцессы на горошине» — любой корень, сук или камень больно впивались в отощавшее тело. Потом я перестал заботиться о чистоте одежды и поступал просто — ложился на потухшее кострище, еще хранившее тепло.

В моей зажигалке оставалось мало газа, а при разжигании костра ее приходилось долго держать горячей. Чтобы преждевременно не израсходовать остатков горючего, я стал использовать сухую бересту. Она мгновенно загоралась от зажигалки, и уже горячей берестой, а не фитилем, поджигался хворост для костра. При таком экономном способе зажигалка исправно действовала до конца путешествия.

Долгое одиночество и молчание привело к интересному явлению: моя личность начала как бы раздваиваться. Непослушные усталые



ноги и желавшее отдыха тело были одно, а мой дух, понуждавший двигаться вперед — другое. Эти две мои половины постоянно ссорились, торговались о частоте остановок и времени отдыха.

Выбор пути требовал постоянного внимания, этим, в основном, и была занята голова. Другим дорожным занятием было вспоминать давно забытые стихи или слова песен, и при успехе их многократно повторять. Мысли о близких людях, страдавших от моей пропажи, были строго запрещенной темой. Зато можно было вспоминать о неоконченных дома делах, которые отсюда казались важнее и интереснее, чем раньше.

Охотнее всего воображение рисовало картины моей долгожданной встречи с дорогой и людьми. Мечталось, что за ближними елями откроется вдруг гладь асфальта, и я останавливаю попутную машину, не убоявшуюся моего дикого вида. Проигрывались разнообразные варианты объяснения со случайными встречными, убедительные просьбы мне помочь, освобожденное место в чужом автомобиле, и вот я, наконец, у знакомого порога. Радость встречи с давно ожидающими меня родными и друзьями, а если дело ночью — торжествующий стук, которым я требую меня впустить. Утешительные сообщения по телефону, что я жив и нашелся, ведро горячей воды для мытья и возможность скинуть грязную одежду. А потом — кружка сладкого и очень горячего кофе или чая, я очень соскучился без горячего питья, и мягкая теплая постель...

Такие благодные мечты об исходе моего путешествия я окрестил словами из детской песенки — программа «голубой вертолет» — и без успеха старался не увлекаться ею. Ибо реальность была иной. День шел за днем, мой поход непомерно затянулся, уходили силы, а шансов встретить людей или найти дорогу не прибавлялось. За весь долгий путь никаких признаков близости человека я так и не обнаружил. Иногда мне мерещился вдали, особенно по утрам, шум от проходившей автомашины, но приблизиться к нему никак не удавалось. Я стал относиться к этим звукам скорее как к галлюцинации.

На второй неделе пути я заметно ослабел. Достаточно было пройти сотню метров, как непреодолимо хотелось отдохнуть. Борясь с этим, я намечал впереди вехи, только дойдя до которых получал право остановиться. Помогало это плохо, садился или валился отдыхать я все чаще, и тратил на это едва ли не больше времени, чем на ходьбу. Донимала редкостная для нашего климата жара, в тени я,

бывало, сразу отключался, пока переместившиеся солнечные лучи не заставляли меня переползти под другой куст.

Сесть отдыхать я старался на высокий пенёк или кочку, с них легче было подняться. Вставание на ноги превратилось в трудную процедуру. Для этого я опирался на палку и придерживался другой рукой за ближний куст, но ноги часто подкашивались, я падал, опять отдыхал, и вновь повторял попытку. Вернее было встать на колени в молитвенную позу, обеими руками опереться о землю и подниматься с их помощью.

Ноги, главный рабочий орган, стали отказываться мне служить. Пришло понимание, что благополучный исход путешествия вряд ли возможен.

Конец своего пути я помню плохо, любопытство сменилось равнодушием, усталостью от однообразия впечатлений. Дни стали путаться, а пройденные места слились воедино. Двигаться лесом я был уже мало способен, но в последние дни удалось выйти на старую лесовозную дорогу подходящего направления. По ней я и брел, еле переставляя ноги. Она шла по листовенному мелколесью, и заросла больше не лесным подростом, а высоким бурьяном. Дорога была густо изрезана очень глубокими, часто залитыми водой колеями, тут могли ездить только зимой. Свежих следов присутствия человека нигде видно не было.

На обочинах этой дороги я провел три последние ночи. Разводить костры я уже не пытался — не было сил, да и топлива. Я забирался на ночь в сухие колеи, чуть защищавшие от ночного ветерка. Было зябко, нагрев спиной землю, я поворачивался и прижимался к теплому месту то одним, то другим боком. С заходом солнца выпадала роса, и моя рубашка становилась сырой. Спалось из-за холода плохо. Раньше я поднимался часов в 5 утра, стремясь начать путь до жары. Теперь мое расписание сбилось: я дожидался солнца, чтобы согреться после зябкой ночи и немного поспать в тепле. Звуки, похожие на шум проходивших машин, звучали здесь вроде громче, чем раньше, но за бесполезностью я перестал обращать на них внимание.

Тринадцатый день путешествия оказался самым для меня тяжелым. С утра я прошел совсем немного, и весь оставшийся день провалился в кустах, спасаясь от солнца. Сил идти дальше не оставалось, и впервые мною овладело отчаяние. Я думал, что хватит бесполезно мучить себя, лучше оставаться в этих кустах и тихо ждать

конца. Сам уход из жизни не пугал, страшил долгий процесс умирания. Я понимал, что «туда» по своему желанию не принимают, дожидаться очереди будет мучительно тоскливо. Ускорить же процесс и помочь себе проститься с жизнью, я оказался не готов. Повеситься на собачьем поводке казалось некрасиво, да и не было сил забраться на дерево привязать ремешок, воспользоваться же маленьким перочинным ножиком затруднительно. Так что мысль о добровольной кончине я оставил, и решил двигаться дальше хоть ползком — бездейственно сидеть на одном месте казалось слишком тошно и скучно. На всякий случай вырезал на куске бересты свое имя, телефон и дату — пусть любопытный знает, чьи останки он обнаружил, и сообщит родным.

Впереди кончалось мелколесье, и виднелся крупный лес, за таким я всегда надеялся увидеть дорогу. Следующим утром я решил добраться до него, но ноги, как и вчера, отказывались меня слушаться, передвигаться я мог только на карачках. Я готовился к очередной попытке встать с земли, как вдруг услышал близкие голоса — с корзинкой для ягод ко мне подходили женщина с мужчиной. «Ребята! Сделайте милость, помогите. Давно заблудился, нет сил идти дальше», — произнес я слова, давно отработанные в программе «голубой вертолет». Случилось чудо, из сладких мечтаний она превратилась в реальность.

На этом мое непредвиденное путешествие можно считать законченным. Добрые люди вызвали по мобильному телефону сельскую «скорую помощь». Я так давно не видел человека, что просил моих спасителей не оставлять меня до прихода машины, боялся, что мираж рассеется, и я опять останусь один.

Под конец меня ждал еще один радостный сюрприз: неожиданно появился мой младший сын. Близкие уже не надеялись меня найти и закончили поиски. Сын с женой оставались последними. Надо же так случиться, что машина «скорой помощи» остановилась справиться у них о месте, где найден заблудившийся в лесу человек! Искать и забирать меня они отправились совместно.

Ходить я не мог, меня на носилках отнесли к шоссе, до которого оставалось всего 300 метров. Это была та самая автомобильная дорога, которую я искал долгие две недели и в конце концов почти достиг.

По сведениям из районной милиции, продолжительность моего блуждания по лесу оказалась рекордной, до этого зарегистрирова-



лись пропажи людей в лесу не более чем на пять суток (единственный случай). Тех бедолаг, кого не находили раньше, живыми уже не встречали. С чем связана моя исключительная живучесть, объяснить не могу.

Задним числом, посмотрев на карту, я выяснил причины непомерной длительности моего путешествия. Из-за незнания местности я шел не в сторону искомой дороги, а почти параллельно ей, лишь очень постепенно к ней приближаясь. Теперь я думаю, что отдаленные звуки идущих по дороге автомашин, которые я изредка слышал, были не галлюцинацией, а реальностью. Крайне низкой оказалась и скорость моего движения, особенно, наверно, в последние дни. Если измерять расстояние по дороге, мой путь составил всего 18 километров, реальный же путь по лесу был, вероятно, раза в два-три длиннее.

Не могу умолчать о судьбе покинувшего меня Феде. Участь таксы тоже оказалась благополучной, через неделю собаку нашли у обочины дороги там, где мы вышли из машины и начали пешее движение. Пока я валялся в больнице, Феде за предательство подыскали нового хозяина, они вполне довольны друг другом, но ходить в лес умная собака теперь отказывается.

Я должен покаяться перед родными и друзьями за доставленные им переживания и заботы. Сознаю, что причина случившегося — мое непростительное легкомыслие, неумение оценить свои силы. В оправдание могу лишь сказать, что признание своей слабости не украшает жизнь мужчины, что силы с возрастом уходят незаметно, и учитывать этот грустный процесс не всегда легко.

Я глубоко благодарен всем, кто был занят моими поисками, знакомым и незнакомым. В них приняло участие несколько десятков человек, были подключены работники МЧС, использовались собаки-ищейки, поднимались в воздух даже парапланы. Не сомневаюсь в усердии спасателей, но ни их, ни низко летящих над лесом летательных аппаратов я не видел и не слышал. Потому и не пытался заявить о себе дымовым сигналом: поджигать ради этого лес я не считал себя вправе, да и нелегко это сделать без топора и с малым запасом сил, а небольшой костер никем не был бы замечен.

Мне кажется, что найти одинокого путника в тех лесах, по которым я странствовал, можно только случайно. Удивительно, что всего в ста километрах от Петербурга удается блуждать в лесу две недели и не встретить человека. Деревенское население сейчас очень

сократилось, да и бывшие надобности посещать леса (пастьба скота, кошение сена) отпали, старые деревенские дороги и тропы исчезли. Заместившие местное население дачники далеко от дорог пешком обычно не ходят. Для верной встречи с людьми надо выходить на автомобильную трассу. Человеку с хорошим слухом нетрудно найти ее по шуму транспорта.

Во время непредвиденного путешествия мне изрядно досталось, но оценить его только как тяжелое испытание мне трудно. В мою однообразную стариковскую жизнь вторглось вдруг приключение. Оно потребовало предельного напряжения сил, но я сумел выстоять, и это принесло чувство удовлетворения. С удовольствием я вспоминаю ночевки в лесу, когда после изнурительного дня я устраивался у костра или в колее лесовозной дороги. Удивительная тишина вокруг и чувство полного одиночества, будто ты единственный человек на земле, что не пугает, а чарует душу. А над головой игра света и цвета неба: гаснет день, приходит короткая «белая» ночь и сменяется вскоре рассветом. Я благодарен судьбе, что смог увидеть и прочувствовать все это в том возрасте, когда не положено уже шататься по лесам, а воспитанная молодежь без колебаний уступает мне место в общественном транспорте.

*Из переписки друзей тех дней:*

*25.07.10 пишет Л.Г.*

...А что собака-то не выла, что ли? И потом, когда вернулась, не пошла обратно в лес (или на болото?) и не привела на какое-то место, где корзинка осталась или даже сам Петя? Петя, конечно, был человеком лесным, но все-таки как-то немножко дико, что умер не дома, не в больнице, а непонятно где, хотя ходил-то ведь не один.

Если можешь что-то ответить на мои вопросы или вообще что-то рассказать о его последних днях, будь другом, напиши.

*27 июля 2010 пишет Л.Г.*

Ура!!! Петя сам вышел сегодня из леса. Шутит! Вот это герой! Я восхищена: ему ведь около 79 лет, он после онкологической операции в 2000 г. остался с одним легким, в мае, когда я уезжала в Германию, едва ходил и выглядел хуже... — и вот один (и с приятелем, и с собакой разошлись), без еды, без под-

стилки почти две недели в лесу, в болотах!!! Выжил и вышел!  
По-моему, у него теперь два дня рождения!

*29 августа 2010 пишет А.В.*

...вчера был у Пети дома (он второй день, как вышел из больницы). Тощий, но ходит, жаждет делиться впечатлениями и охотно рассказывает (собирается писать). От голода не страдал (только мечтал о каше с вареньем), хотя ничего не ел две недели. Шел по компасу упрямо в опасении, что будет кружить. Часто должен был лежать, но трудно было вставать. Не двигаться вперед — «было невыносимо», даже и тогда, когда положение стало осознаваться как безнадежное. Потому и шел (без палки не мог). Бывал в забытьи, но много ярких впечатлений и много думал о конце. Последние два дня (из 14) особенно обессилен. Но сам услышал голоса местных жителей и подал голос. Из леса в авто доставляли на носилках. Сейчас ходит без всяких палок. В хорошем настроении, радуется окружающим и в целом выглядит очень неплохо. С начала блужданий прошел как раз месяц. Подробнее про блуждания писать не решаюсь, коль есть надежда узнать в письменном изложении самого Пети. Жалею, что не имел при себе диктофона.





**Д.Е. Трузов**

## **Непредвиденное путешествие**

**глазами  
спасателя<sup>1</sup>**

В один из самых жарких дней прошлого лета мне сообщили, что ближайший друг моего отца Петр Петрович С. потерялся в лесу. За пару дней до этого он заходил к нам. Отец мой лежал при смерти, Петр Петрович уезжал на дачу, и дела обстояли так, что все понимали, что визит этот, скорее всего, последний. Я видел их из коридора: отец уже практически не мог говорить, и старики просто молча смотрели друг другу в глаза. Они были знакомы больше полувека — оба биологи, оба заядлые походники, знавшие и любившие жизнь в лесу. В детстве оба учили меня разводить огонь, а Петр Петрович давал поиграть с ружьем. В отличие от отца он любил охоту и много времени проводил в экспедициях — ездил в Среднюю Азию, где спускался в пещеры в поисках летучих мышей. Отец тоже порой уезжал в экспедиции на полгода-год: во времена, когда этим не занимался еще никто на свете, он нырял в Антарктиде, позже — в Австралии. Теперь отец лежал в постели, с которой, как он знал, ему уже было никогда не подняться, а его лучший друг, сидя рядом на стуле, рассказывал, что собирается за морошкой — несмотря на отсутствие одного легкого и не так давно сломанное бедро. Когда, пожав руку

---

<sup>1</sup> Текст был впервые опубликован в журнале «Большой город» № 12 (278) от 13 июля 2011.

больному, 78-летний Петр Петрович поднялся, чтобы уйти, его качнуло так сильно, что он едва не упал. И вот теперь он исчез — пошел с таксой на болото и не вышел обратно к машине. Водитель безуспешно ждал его на шоссе; сын, работавший в деревне неподалеку, всю ночь носился по соседним дорожкам — но ни гудки, ни крики не дали результата. В последние годы у Петра Петровича были проблемы со слухом — возможно, он не слышал сигналов или не смог определить направление звука. Утром родственники вызвали милицию и МЧС, а мне позвонили где-то на третий день.

Я впервые заблудился в лесу еще подростком, отправившись с другом за елкой к Новому году, и происшествие это произвело на меня оглушительное впечатление. Было холодно — под минус тридцать. Мы жались к костру, поворачиваясь то одним, то другим замерзшим боком, но нещадно одолевавший нас мороз не шел ни в какое сравнение с холодным страхом: никогда не ночевавшие зимой в лесу, ни я, ни мой приятель не были уверены, что доживем до утра. На следующий день мы вышли обратно по собственным следам и встретили отца, разыскивавшего нас с группой друзей. С тех пор мне несколько раз случалось заблудиться в незнакомой местности и почти каждый раз меня охватывал знакомый скучный страх. Место, где Петр Петрович свернул с дороги в лес, находилось всего в ста километрах от города и приблизительно в двадцати — от ближайшей деревни. Грунтовка, петлявшая по угрюмому лесу, заканчивалась Т-образным перекрестком с разбитой лесовозами глинистой просекой. На топографических картах здесь значилась узкоколейная железная дорога, но рельсы и шпалы, видимо, давно растащили. Вокруг не было никаких населенных пунктов — только частый темный лес с глубокими оврагами, болотцами и заросшими мелколесьем или цветами вырубками да давно брошенные лесовозные просеки. Даже надписи на карте были мрачноватыми — все развалины, болота и урочища с названиями вроде Пересыльный Мох. Всю дорогу я говорил по телефону с оставшимися в городе друзьями, пытавшимися через Интернет добыть поисковых собак: ни у местной, ни у городской милиции таких собак не нашлось. Потом телефон перестал ловить сигнал.

На обочине, возле места, где Петра Петровича видели в последний раз, стоял пяток городских автомобилей и зеленая «буханка» МЧС. Несколько человек закусывали бутербродами, склонившись над картой, кто-то безуспешно пытался завести заглохший ква-

дроцикл. Далеко в чаще непрестанно аукали — там бродила другая группа. Лес стоял тихий и темный, но даже в тени было невыносимо жарко. Искали человек тридцать, и, зная походный опыт Петра Петровича, я подумал, что мы найдем его до вечера — в голове не укладывалось, что человек, «одетый в х/б брюки светло-серые, рубашку в серо-красную клетку, зашедший в лес в понедельник в 9.00 утра 12 июля», может просто так исчезнуть в трех часах езды от своей городской квартиры. Я подошел к сотрудникам МЧС спросить, не удалось ли найти собаку для поиска.

— Собаки у нас на базе есть, — ответил мужик, сидевший на подножке «буханки», — но они натасканы искать живых под завалами. Дед ваш — немолодой человек, и вы сами говорите — опытный. Раз не вышел ни вчера, ни сегодня — наверное, сердце на жаре не выдержало. А мертвых наши собаки не ищут.

Все помолчали.

— Бывает, что и через неделю сами выходят, — сказал мужик, пытаясь смягчить смысл собственных слов. — Ну, что будем делать?

Я рассчитывал, что это они скажут нам, что делать. И действительно, определенный алгоритм у эмчэсовцев все же был.

— Для начала, — сказал главный, державший в руках единственный на всю бригаду прибор GPS, — будем прочесывать линейные ориентиры: тропки, линии электропередач и просеки. Если человек выходит к тропе или к проводам, он дальше будет двигаться вдоль ориентира, так и найдем, если живой.

Весь инвентарь МЧС состоял из пары раций, армейских брезентовых носилок, 50-метровой веревки, аптечки, карты и одного GPS. Второй прибор был у меня. Бригада занялась линейными ориентирами, а мы, выстроившись цепью, принялись прочесывать лес по квадратам. Болото, на котором исчезли Стрелков и его такса, занимало около четырех квадратных километров и было рассечено узкими, около метра шириной, канавами — следами заброшенного мелиорационного проекта. С одной стороны его ограничивал большой цветущий луг, с другой — речушка, показавшаяся нам непреодолимой, во всяком случае, для пожилого человека. Искали от луга до дороги, затем, развернувшись всей цепью, от дороги до речушки. Канавы и овраги не давали держаться рядом. Цепь постоянно рассыпалась, и идущий слева вечно терялся из виду. В лесу было так же жарко, как на дороге, и нас непрестанно одолевали оводы, к которым ближе к вечеру добавились невероятно злобные комары. Зная,

что Петр Петрович ушел в одной рубашке, я с ужасом думал, что они с ним успели сделать.

Мы ничего не нашли — ни следов, ни окурка, только пару раз прямо из-под ног выпрыгивали зайцы. В очередной раз потеряв и вновь обнаружив соседа по цепи, я понял, что, если Петра Петровича на самом деле уже нет в живых, мы можем запросто пройти в метре от него и не заметить тела в буреломе или овраге. Сам я потерял ориентацию очень быстро и шел только по показаниям GPS. Уже в сумерках мы выбрались обратно к шоссе. На дороге стоял «газик», вокруг которого бегал крупный веселый пес.

Приехавшие оказались волонтерами «Объединения добровольных спасателей». На организацию удалось выйти через Интернет. Добровольцы были экипированы значительно лучше государственных спасателей и, в отличие от них, не спешили домой. Мы бродили вдоль канав, пока совсем не стемнело, но пес так и не взял следа. Зато, уезжая, его хозяева категорически отказались от денег, не приняв даже символического вознаграждения за бензин, а через день приехали снова. Позже я видел их сайт: в течение двух недель совершенно незнакомые люди в многостраничной ветке дискуссии обсуждали разные версии происшедшего, искали волонтеров и собак, обеспечивали транспорт и карты.

Всю следующую неделю мы провели в лесу, постепенно расширяя зону поисков и исходив болото вдоль и поперек. Человека с такой не было — оба словно провалились сквозь землю. Как именно это могло произойти, я понял, когда недопрыгнул до берега очередной канавы. Узкая щель оказалась неожиданно глубокой. Затягивавшая ее зеленая ряска разошлась в стороны, и я провалился в воду почти по грудь. Покрытое тиной дно было предательски топким. Вечером, отойдя в сторону от родственников, я обсуждал этот случай со спасателями.

— Провалиться мог запросто, — сказал один, — но неясно, куда тогда делась такса. Могла, конечно, с перепугу убежать еще дальше в лес, а могла попасться медведю. Сегодня видели медвежьи следы совсем свежие. Но на такой жаре труп должен бы был уже всплыть. Если, конечно, не зацепился за что-нибудь. А если его медведь нашел, мог прикопать, чтобы потом вернуться. Надо бы под всякие сушня и коряги заглядывать.

От этих бесконечных «если» и связанных с ними — одна мрачнее другой — гипотез делалось как-то невыносимо тоскливо и холодно

внутри. Больше всего это чувство напоминало тягостную, безнадежную скуку, с которой я впервые столкнулся зимней ночью у костра, когда не знал, доживем ли мы до рассвета. Каждое утро я входил в лес, думая, что сегодня Петр Петрович отыщется живым или мертвым. В первую половину дня я искал живого, а ближе к обеду, взмокший и совершенно съеденный кровососами, поднимался на какую-нибудь возвышенность или попадавшуюся порой охотничью засидку, окидывал взглядом бесконечный зеленый лес и, в сотый раз подсчитывая, сколько прошло дней, склонялся к мысли, что шанс увидеть Петра Петровича живым ничтожно мал.

Мы бросили ходить цепью. С утра участки на карте распределялись между медленно, но неуклонно уменьшавшимися группами, и дальше каждый бродил по своему квадрату. Кто-то расклеил объявления о поиске в деревнях вдоль дороги. Кто-то прошел в гидрокостюме всю текшую неподалеку речушку. Ни следа. Вечером я собирал треки с имевшихся GPS и наносил на карту очередной отработанный квадрат. Сменявшиеся бригады МЧС, у которых на всех был только один прибор, никогда не слышали о том, что треки можно сводить на одной карте. Когда я показал им OziExplorer, программу, позволяющую переносить данные из GPS на персональный компьютер, и убедил, что несколько бригад МЧС уже не первый день ходят по одному и тому же маршруту, они были по-настоящему удивлены. Вообще, эффективность организованных государством поисков очень сильно зависела от смены. Одни бригады приезжали с девушками и практически сразу отправлялись купаться, другие бродили по лесу как заведенные, но все они в конце каждого дня предполагали, что завтра начальство прикажет прекратить ПСР (поисково-спасательные работы), особенно, если в районе начнется другая, более перспективная операция.

К концу первой недели пришла гроза с ливнем, мгновенно размывшим глиняные дорожки. Надежды ни у кого практически не оставалось. Даже оптимисты, предполагавшие, что Петр Петрович сломал ногу и все это время лежит где-то незамеченным, соглашались, что он вряд ли смог бы пережить холодную мокрую ночь.

— Теперь по мухам надо ориентироваться или по запаху, — сказал один из спасателей, и на меня снова нахлынула знакомая скучная дурнота.

Когда все возможные версии казались исчерпанными, я стал объезжать немногочисленные деревни в округе — на случай, если про-



павший выйдет сильно в стороне от района поисков. Дорогу размыло так, что несколько километров отнимали часы. Мотоцикл часто падал или вяз в лужах. Хуже всего было то, что на плохой дороге нельзя было ни на секунду отпустить руль — съеденные комарами руки опухали на глазах, и мне снова страшно было думать, как они могли извести за это время человека, ушедшего в одной рубашке. Над головой несколько раз со стрекотом пролетал параплан — родственники нашли энтузиастов, организовавших воздушную разведку. Пилоты тоже не брали денег. Только один, сжегший над лесом все горючее, попросил отлить немного бензина, чтобы дотянуть до базы. Наконец деревья передо мной расступились, и мотоцикл выскочил к крохотной покосившейся деревеньке. Я обходил дом за домом, расспрашивая хозяев и расклеивая объявления. В каждом ахали и рассказывали какую-нибудь жутковатую историю. Выяснилось, что люди теряются в этих местах регулярно, едва ли не каждый год.

— Самое большее, через пять дней выходили, — рассказала словоохотливая старушка, усадившая меня обедать. — Два года назад у соседа дети заплутали и через пять дней на полустанок к 46-му километру вышли, тебе там тоже обязательно расспросить надо. А еще у соседки муж в лес пошел. И искали, и кричали, а нашли мертвого грибники лет через пять, тут всего в километре под деревом сидел, и даже звери его не тронули. А моего вовсе не нашли. Он лет пятнадцать назад ушел. Тут в болоте такие окна есть, провалишься — вовек не выберешься. Должно быть, ваш в такое окно и угодил.

Я доел обед и, немного обсохнув у печки, попытался проехать по просеке до полустанка. Вечерело, и прямо перед колесом мотоцикла тянулась цепочка хорошо видимых на мокрой глине медвежьих следов. Я проехал по ним километров пять и совсем уже решил разворачиваться, когда мотоцикл, клюнув носом вниз, вдруг ушел в жидкую глину почти по самые ручки руля. Он завяз так прочно, что я не смог его вытащить. Пришлось вбить под раму лесину, которая не дала бы машине утонуть окончательно, и отправляться за помощью. Началась короткая летняя ночь. Я шел по просеке, поглядывая по сторонам, чтобы вовремя заметить хозяина больших когтистых следов, и мне было очень не по себе. Всему, что я знал о выживании на природе, меня научили отец и отчасти — Петр Петрович; а сейчас, когда я не знал наверняка, жив ли еще кто-нибудь из них, в лесу было особенно одиноко и неуютно. В какой-то момент мне показалось, что на дальней опушке завозился медведь — я постарался

поскорее пройти мимо. К дому я вышел только утром, и уже через несколько часов мы отправились обратно на старенькой «Ниве». Выдернув мотоцикл, мы с младшим сыном Петра Петровича пошли дальше пешком. Вскоре просека превратилась в узкоколейку. Видимо, так далеко сборщики металлолома не забирались. Ржавые рельсы на трухлявых шпалах петляли по лесу, пересекая темные речки по угрожающе покачивавшимся гнилым мостам. Мы долго шли молча, и я думал, что наши отцы словно нарочно устроили все так, чтобы не узнать, кто из них кого переживет.

Отдыхать уселись в тени ржавой дрезины и лесовозных платформ, бог весть когда брошенных в этом лесу. Из-за старой, никому не нужной техники и насквозь проржавевших бочек лес казался совсем унылым, и я в который раз поразился тому, какую глухомань можно найти в ста километрах от города. Развернув карту, я проследил, куда уходила ветка: одним концом она упиралась в полустанок, на который два года назад вышли пропавшие дети, а другим — дальним — в железнодорожную станцию, возле которой я чуть не замерз, когда искал злополучную елку для новогоднего праздника. Теперь стало ясно, что напоминал мне этот лес, и отчего-то, как только я понял, где именно нахожусь, я окончательно потерял надежду. Мы пошли дальше, но так и не встретили ни одного следа. Только десятки гадюк, гревшихся на горячих рельсах. Шел восьмой или девятый день поисков, во время ночного перехода в неудобных мотоциклетных сапогах я так сбил ноги, что почти не мог быстро ходить, и к вечеру, узнав, что отцу стало хуже, окончательно уехал домой. В следующие дни я иногда звонил в деревню — спасательная операция постепенно сворачивалась, а на 13-й день ее прекратили вовсе. На месте остался только младший сын Петра Петровича. Он должен был собрать весь скарб и выехать в город на следующее утро. После недели в лесу в душном горячем городе было трудно дышать, и ночами я постоянно думал о том, какая смерть лучше — дома после долгой болезни и в своей постели или та, что настигла Петра Петровича в лесу. В том, что его нет в живых, я больше не сомневался. Перед глазами все время стояли стволы, муравейники и овраги, где, возможно, лежало тело.

Петра Петровича нашли на 14-й день в кустах возле самой деревни. Он так ослаб, что не смог самостоятельно пройти триста метров до скорой, вызванной обнаружившими его людьми. К машине его вынесли на носилках. Он не мог даже приподнять голову и

позже рассказывал мне, что принимал все происходящее за мираж, пока не узнал среди мелькавших у носилок ног знакомые брюки своего младшего сына. Две недели он шел (а когда ноги перестали держать — полз), переходя с одной заброшенной просеки на другую, неотступно приближаясь к дому и так же неотступно удаляясь от района поисков. Не зная местности, он двигался зигзагами, почти параллельно дороге, метр за метром преодолевая валежник, болота и гнилые пни. Дневную жару переживал в тени, ночами грелся у костра, который разводил с помощью кончавшейся зажигалки и трута. Пять сигарет удалось растянуть на четыре дня, и в один из этих дней пес оставил его одного (собака тоже выбралась в конце концов на шоссе). Когда сил на сбор дров не осталось, Петр Петрович стал спать, прячась от ветра в старых колеях, и положил в карман кусок коры, на котором выцарапал свое имя, чтобы облегчить опознание тела, но по-прежнему считал себя не вправе поджечь лес, чтобы привлечь внимание спасателей. Все это время он ничего не ел, только пил, высасывая скопившуюся в лужицах воду через полый стебелек, а потом собирая ее в болоте удачно найденной стеклянной банкой. Он так исхудал, что почти не мог спать на впивавшихся в тело камнях и сучьях, и через неделю, когда я навещал его в больнице, его разбитые ноги были все еще покрыты шрамами. Петр Петрович рассказывал, что боялся не столько смерти, сколько долгого процесса умирания. Но к тому времени, когда пришло отчаяние, у него уже физически не было сил, чтобы прервать свои страдания тупым перочинным ножиком. Сидя в кресле-каталке в больничном дворе, он шутил, подробно и метко описывая красоту безлюдья и нежные оттенки неба в бесконечной череде закатов и рассветов.

Но все это я узнал позже, а когда мне позвонили, чтобы сказать, что Петр Петрович нашелся живым, я сам бродил в поисках выхода, заблудившись в путанице одинаковых кладбищенских дорожек. Отец умер на три дня раньше.



## **В поисках пиратских сокровищ**

В темной глубине подвала раздался подозрительный шум. «Слышал? Пора уходить!» шепнул мне напарник. Мы старались двигаться бесшумно, но из-под ног вырвалась и загремела железная труба. Таиться дальше не имело смысла. Я дважды выстрелил в темноту из пистолета, и мы ринулись к выходу из подвала. Вот и он, но сзади мерещатся звуки погони. Только бы добежать до уличного фонаря, к свету, к людям, и мы будем спасены. В ларце с кладом, что мы уносили, бренчали золотые дублоны...

Любителей вестернов должен разочаровать: пистолет был стартовый, мой напарник — малолетний, золотые дублоны — дореформенная мелочь, а дело происходило на мирном Каменном острове в Петербурге, тогда еще Ленинграде. Как мы там очутились, я и хочу рассказать.

...Воскресные прогулки с мамой в раннем детстве. Собирать букеты из разноцветных листьев и набивать карманы желудями нам скоро надоедало, и мама придумала увлекательную игру — поиски пиратских кладов. В пустой спичечный коробок она вкладывала мелкие монетки, и прятала его у корней деревьев. Мы с братом искали такие клады со страстью, ревниво следя друг за другом, но под маминым руководством обиженных не оказывалось. Когда коробки кончались, мама бросала монетки прямо на землю, что не портило удовольствия от их поисков.

Я вспомнил об этом через много лет, когда до роли кладоискателей доросли уже мои дети. Незамысловатую игру я постепенно усложнял, старался сделать ее более волнующей и увлекательной. Сокровища — мелкие деньги всех времен и народов, негодные часы, отслужившая свой век бижутерия и красивые разноцветные стеклышки («драгоценные камни»), а также другие ценные детские мелочи складывались в коробки с наклейками в виде черепа и скрещенных костей, иногда с угрожающими записками, нацарапанными «кровью» (красными чернилами). В удачных случаях сокровище содержало именно те предметы, о которых мечтал очередной кладоискатель. Впрочем, из чего состоял клад, не имело принципиального значения, главный интерес составлял сам процесс поиска. Место, где прятались клады, метилось с помощью мела или угля крестом, под которым их и следовало искать. Не исключалось, что пираты за кладами присматривают, поэтому забирать их приходилось тайно, без свидетелей, среди прохожих могли оказаться переодетые разбойники или их лазутчики. Точно определять потенциальных врагов было не обязательно. Таинственные «они», которых мы опасались, могли быть не только морскими разбойниками, но также конкурирующей фирмой кладоискателей, в иных случаях даже нежитью. На такие опасные вылазки дети всегда брали с собой игрушечное оружие.

Место вокруг найденного клада тоже было достойно внимания. Пираты любили пировать вблизи спрятанных сокровищ и оставляли там затейливой формы нездешние бутылки с этикеткой «Ром пиратский». В этой трофейной стеклотаре мы носили на прогулки разные вкусные жидкости, любимые кладоискателями.

По мере взросления детей, из ближних садиков клады перемещались в более страшные места — на кладбища и в развалины, их поиски «для настроения» в особых случаях проводились в темноте. Самым взрослым детям иногда подбрасывались рукописные карты (как у Стивенсона), которые надо было понять, сличить с местностью, при помощи компаса выбрать правильное направление и считать шаги до вожделенного места. Летом увлекательным делом был поиск сокровищ в местах «былых морских сражений». Для этого требовалось прогретое солнцем мелководье, и, желательно, маска с трубкой.

Самое трудное в этой игре — незаметно спрятать клад. Особенно сложно иметь дело с робкими детьми, чаще девочками. В непривыч-

ной обстановке они не склонны отходить от взрослого ни на шаг, тут без посторонней помощи обойтись трудно. По этой причине мероприятие было лучше готовить заранее, хотя это и занимало лишнее время.

Как мне кажется, лучший возраст для детского кладоискательства — от пяти до десяти лет. Дети перестают верить в подлинность пиратских кладов в очень разном возрасте. Одна из внучек, выросшая на этой игре, оказалась прагматиком, и лет с восьми лишь делала вид, что верит моим байкам: поиски кладов превратились для нее в форму получения мелких подарков. Зато страстным кладоискателем оказался ее старший брат. В поисках сокровищ мы обошли с ним весь Каменный остров, богатый в то время развалинами, и Серафимовское кладбище. За время этих блужданий с нами случались и незапланированные приключения: при откапывании клада из старой могилы выскочила раз огромная крыса, в брошенном доме, где жили одичавшие собаки, мы нашли выводок замечательных щенков, а в другой раз — спрятанную байдарку, украденную на ближайшей водно-спортивной базе. Выработался даже особый ритуал выходов «на дело»: внук обязательно надевал мою полевую сумку, загружал в нее фонарь, что-нибудь вкусное для поддержания сил и демонстративно подвешивал к поясу большой складной нож, в конце-концов им потерянный. Продолжал искать клад он лет до двенадцати. Мне казалось это чрезмерной инфантильностью, и я открыл ему истину. Мальчик очень огорчился и пенял мне потом: «Зачем ты мне это сказал, ведь было так интересно играть!»

Судьба наградила меня большим числом детей и внуков. Поиски с ними сокровищ слились воедино, память удержала лишь отдельные эпизоды, обычно связанные с изредка возникавшими недоразумениями. Хорошо запомнился первый поход на кладбище, так как при этом я пострадал. Клад был спрятан заранее, на поиски мы вышли уже в темноте. Кладоискателей было двое — семилетние мальчик и девочка. Дочка разумно выбрала безопасную позицию у меня на плечах, сын вооружился до зубов и был готов постоять и за себя, и за меня. Под призывы к бдительности и тишине, мы в слабом свете фонарика крадучись достигли могилы, где был намалеван искомый знак. Мальчишка обнажил большой нож, по такому случаю ему доверенный, и принялся яростно им копать. Зарытый сундучок с сокровищами уже показался из земли, я потянулся к нему, но возбужденный кладоискатель махнул ножом так неудачно, что мою руку



залило кровью. В этот момент в дело вступил старший сын, бывший в заговоре — завыл за ближними могилами дурным голосом. Перед лицом опасности мы схватили клад и бросились бежать, пятная снег кровью. Сидевшая на мне верхом девчонка подгоняла меня ударами кулака по темени, при этом зимняя шапка сползла на глаза и маневрировать среди могил стало затруднительно. Еще больше мешал разбиравший меня смех, лишь с трудом сдерживаемый. Ребята вернулись домой страшно довольные приключением, а я занялся перевязыванием раненой руки.

Другой памятный случай произошел осенью в Лопухинском саду. Гранитную стенку над прудом украшает там полукруглый грот, где и был спрятан клад. Трудность заключалась в том, что попасть в грот можно было лишь сверху, спускаясь по веревке на небольшую высоту, но над водой. Глубина ее была здесь невелика, мне по колено, но ребята об этом не знали, в сумрачный день черная вода под ногами казалась им бездонной. Дать детям испытать себя в столь необычном способе передвижения и было моей целью. Первым я спустил вниз десятилетнего внука, который ловко, качнувшись на веревке, попал в грот, а потом принял спущенную сверху семилетнюю внучку. Когда я стал поднимать детей наверх, наша толстая веревка перетерлась о камни и оборвалась. Как на грех, в воду плюхнулась девчонка. Жалобное «Ах!», нарядная юбочка венчиком всплыла вокруг нее, но на мели внучка стала ногами на дно, а мальчик не растерялся — мгновенно выдернул ее из воды и втянул в грот. Испуганная девчонка расплакалась и наотрез отказалась иметь дело с предательской веревкой, пусть даже надежно связанной. Я перепугался от случившегося больше пострадавшей, но виду не подал. Сверху я хвалил беднягу за доблесть, призывал к новому подвигу и подсмеивался над ней (верный способ разрядить обстановку), но сам готовился лезть в пруд и вброд выносить ребенка на руках. Кончилось дело тем, что смелая девчонка переборола себя, встала мальчику на плечи, я низко свесился вниз, благо сердобольный прохожий держал меня за ноги, дотянулся до внучки и за руки вытащил ее наверх. Благополучно закончившееся приключение мы отметили салютом. Честь запуска ракеты (в те времена великого дефицита) была предоставлена пострадавшей внучке, о чем она помнит и чем гордится до сих пор.

Одно лето мы с большой компанией разновозрастных детей жили в пустующем доме в глухой, оставленной жителями деревне.



Рядом находились заброшенное кладбище и каменная церковь, изуродованная внутри, но снаружи хорошо сохранившаяся. Грех было не воспользоваться столь выгодным соседством.

Для розыгрыша были выбраны двое детей-ровесников, мальчик и девочка девятилетнего возраста. Оба ребенка отличались самоуверенностью и изображали бесстрашных, поэтому сбить с них гордыню казалось не лишним. Спали мы все вместе на сеновале. Чтобы драматизировать обстановку, в темноте велись тревожные разговоры: таинственные «они» то якобы пугали кого-нибудь из нас, то начинали шуметь на крыше, и все общество замирало, дабы не привлечь их опасного внимания (шум достигался с помощью консервной банки, привязанной к веревке). Детям дали почувствовать, что кругом не все чисто, и стали заманивать в церковь богатым кладом, явно там спрятанным. Как и положено, искать его следовало ночью. Поначалу кладоискатели храбрились, но ближе к сумеркам скинули и согласились идти за сокровищем только в моем сопровождении. Крадучись, часто останавливаясь и прислушиваясь, мы приблизились к темной громаде церкви. Я зажег фонарик, со скрежетом отворил тяжелую дверь, а за ней стоял... скелет! Кладоискатели ударились в паническое бегство; один из них на бегу запнулся, перевернулся через голову и, вскочив, кинулся бежать подальше от страшного места. Около дома их ждали веселившиеся зрители, и всей компанией мы пошли знакомиться со скелетом. Он был сделан из отгнившего кладбищенского креста, драпированного простыней, и вырезанного из бумаги черепа. «Склея» стал общим любимцем и предметом гордости, его перенесли к порогу нашего жилища, где он смущал проходивших мимо старушек. Имя ваятеля скелета из скромности утаю.

В жизни бывают забавные совпадения. Те двое детей, что убежали от скелета, родили собственных детей, тоже ровесников и тоже мальчика и девочку, а около дачи, где мы проводили с ними каникулы, также имелась разрушенная церковь. Я стал к тому времени много старше, и пугать кладоискателей скелетом уже не считал возможным, но случай для испытания детской храбрости не упустил. Внукам было объяснено, что в церкви спрятан заговоренный клад, и он достанется только смельчаку, который пойдет искать его в полночь. Разрушенная церковь была отлично известна детям по дневным посещениям. Как и положено, в доме они вели себя очень смело, но в темноте зимней ночи их прыть выдохлась. Идти к церк-

ви в одиночку, без взрослых, дети (как некогда и их родители) от-казались.

Следующую попытку добыть в церкви сокровище произвели в ночь на Ивана Купалу, когда зацветает папоротник, и клады сами открывают себя фартовым искателям. Конечно, на комфортабельной даче страшать детей таинственными «они» было не так удобно, как их родителей на сеновале в пустой деревне. Для подготовки к подвигу я прочел внукам вслух Гоголя, но страшный «Вий» не произвел на них особого впечатления. Я решил, что современные фильмы ужасов убили классика в воздействии на юные умы. Светлая северная ночь облегчала кладоискателям задачу, но черный зев входа в развалину и безлюдье вокруг казались детям зловещими. В этот раз они пересилили себя, и вдвоем, без сопровождающих, зашли в церковь. Я тайком наблюдал за ними, и меня поразило поведение десятилетнего внука, не имевшего в семье и намека на религиозное воспитание: на подходе к церкви он часто крестился и молился вслух, прося у Создателя помощь и защиту. Сперва я подумал, что это пришло к нему из глубины подсознания, но затем переменял мнение: это мое чтение Гоголя не прошло даром, и мальчик востребовал со страха опыт несчастного Хомя Брута.

Мне кажется, что поиски кладов — хорошая и небесполезная игра. Для нее требуется только немного фантазии и умение получать удовольствие от совместных с детьми игр. Искать — древнейшее занятие человека, дети придаются ему с охотой и азартом, поиски сокровищ делают для них любую прогулку увлекательной и желанной. Совсем легко придать таким поискам таинственность и элементы воображаемой опасности. Страх — естественное чувство, в дозированных порциях необходимое детям в условиях тепличной городской жизни; не зря они сами выдумывают и пугают друг друга «страшилками». Поиски кладов, должным образом организованные, развивают воображение, позволяют ребятам оценить собственную смелость и учат побеждать страх. Даже справедливый дележ найденных сокровищ для иных детей может быть поучителен. Для устроителей же игры веселье и радость от доставленных детям захватывающих переживаний гарантировано. Повзрослевшие кладоискатели и постаревшие организаторы действия равно вспоминают о нем с доброй улыбкой.

Моя мама оказалась хорошим садовником, когда 70 лет назад закопала под деревом спичечный коробок с монетками. Он дал бога-

тые всходы: считая нас с братом, пиратские клады волновали воображение уже трех поколений детей в нашей семье, поиски их стали нашей фирменной игрой. Хочу надеяться, что эстафета на мне не прервется, и кто-нибудь из моих внуков или внучек продолжат ее и дальше.





## Графская рогословная

Володю Шувалова мы для забавы величали Графом. Наш аристократ, впрочем, не менее охотно отзывался на клички Шувалсон или Шувалкинд. Шутка заключалась не только в переименовании благородной фамилии, но и полном соответствии Вовкиной внешности такому ее звучанию: он был ярким светлоглазым блондином чухонского типа. Веселый и шумный, открытый для всех добряк, он был приметен в любом обществе и пользовался общей симпатией.

Мы дружили с первого дня появления в Ленинградском университете в далеком 1949 году, куда оба поступили учиться на биологический факультет. Жил Володя на Первой линии Васильевского острова, арка его двора открывалась на Тучков мост. Из университета сюда добирались пешком, и я часто у него бывал, благо жил Володя сравнительно просторно. С матерью и теткой они занимали три небольшие комнаты. Главное, что их квартира была отдельная, без соседей, что по тем временам было редкостью. Других счастливых обладателей отдельных квартир среди друзей той поры я не помню, все они жили в перенаселенных коммуналках.

В доме господствовала Мария Федоровна, Вовкина мама. Комнаты содержались в идеальной чистоте, переменить что-либо и нарушать установленный ею порядок не полагалось. Стены шуваловских апартаментов украшали фотографии и не слишком замысловатые картины. Портретов предков в золоченых рамках, как положено потомкам графов, среди них не было, однако родство с аристократами

в советское время предпочитали скрывать. Отец Володьки сгинул еще до войны, мать был бухгалтером. По ее словам, свою квартиру семья Шуваловых занимала с дореволюционных времен. Этим ограничивалась известная нам часть Володиной родословной.

С первых посещений Вовкиного дома я обратил внимание на небольшую картинку на стене, изображавшую толстую собаку типа пойнтера. Она удивляла меня своим безобразием и неуместностью среди других картин, изображавших красоток или нарядные пейзажи. Почему собака удостоилась чести украшать семейный интерьер, было непонятно.

После окончания университета мы с Володей поступили работать в один институт, продолжали постоянно видеться и дружить. По специальности он был морским гидробиологом, ходил в дальние плавания, увлеченно работал, защитил кандидатскую диссертацию, но потом в его жизнь вторглись болезни. В годы войны, проведенные Володей в блокадном Ленинграде, он заработал гипертонию. Как последствия этого, он пережил инфаркт, потом инсульт и второй инфаркт. С трудом, опираясь на палку, Володя доползал иногда до нашего Зоологического института на стрелку Васильевского острова, но большую часть времени проводил дома. Затем пришла новая беда: флигель, в котором он жил, расселяли на капитальный ремонт. Жильцы получали новые квартиры в новостройках, что для ограниченного в передвижениях инвалида грозило изоляцией от места работы и привычного для него общества. Володя мечтал остаться на родном Васильевском острове, но его слезные просьбы и ходатайство от института успеха не имели.

Графа нужно было спасать. Я назвался председателем жилищной комиссии нашего профбюро и отправился хлопотать за него в Районное жилищное управление. Как представителю общественной организации, мне не пришлось стоять в многочасовой очереди. Чиновная дама учтиво меня выслушала, но твердо заявила, что свободных квартир для расселения на Васильевском у нее нет. Не помогло ни мое красноречие, ни медицинские справки и блестящая характеристика Володи за подписями «треугольника» института (партбюро, дирекции, профкома), ни блокадное прошлое семьи — 30 лет назад живых блокадников оставалось еще слишком много, их льготы носили скорее декларативно-платонический характер.

Посреди разговора чиновницу вызвали из кабинета, и тут я решил — поставил на ее стол красивую веточку кораллов, специ-

ально для того взятую. Вернувшаяся дама мой подарок будто и не заметила, но настроение ее разительно переменялось: она вдруг вспомнила, что по нашему ходатайству кое-что можно сделать.

Появилась надежда, следовало развивать успех. Я кланчил у товарищей по институту морские диковины, явился в заветный кабинет с набором красивых тропических раковин, и они были благосклонно приняты. В итоге переговоров Володиной семье предложили хорошую квартиру в доме после капитального ремонта на соседней Второй линии. Это была невероятная удача, предел их мечтаний.

Для меня осталось загадкой, почему пустяк в виде морских сувениров произвел на чиновницу такое впечатление — тронул ее необычный способ выражения внимания, или она сочла его авансом более серьезных подношений, которых так и не получила. Хочется думать, что ею руководила не корысть, а скорее человеколюбие — в советские времена, как ни странно, оно встречалось чаще, чем ныне. Чиновную даму пригласили потом удостовериться, как устроилась благодетельствованная ею семья, и она была принята Шуваловыми как самая дорогая гостья.

Переселение нарушило неизменный порядок, сохранявшийся в Шуваловской квартире. Незадолго до переезда Володя вызвал меня к себе. Ему, верно, хотелось оставить мне память о своем старом разоряемом доме, он снял со стены и преподнес две небольшие картины в красивых рамках, одну из них — с памятным изображением толстой собаки. В ней и была сделана замечательная находка. Под рисунком собаки в рамке скрывался старый документ от 1907 года — почетное Свидетельство за подписью Санкт-Петербургского градоначальника. Оно гласило, что старшему дворнику Ивану Шувалову, крестьянину Московской губернии, за отлично-усердную службу всемилоостивейше пожалована серебряная нагрудная медаль на Станиславской ленте с надписью «За усердие».

Эта находка произошла еще в Брежневское время, непривычным двуглавым орлом на печати и витиеватой подписью документ производил сильное впечатление. Поразило меня и другое обстоятельство: выходило, что дворник до революции жил не в коморке под лестницей (как полагалось по советским канонам), а занимал приличную трехкомнатную квартиру, о которой мы могли только мечтать.

Теперь стало понятно происхождение безобразной собаки. После революции держать Свидетельство на видном месте стало опасно,

а уничтожить жаль, да и неясно было, как повернется дело дальше. Грамоту в рамке закрыли подходящей по размеру картинкой, и на многие десятилетия о ней забыли.

Свидетельство градоначальника торжественно, при общем ликования гостей и хозяев, было зачитано на многолюдном Володином новоселье. Родство его с графами явно не подтверждалось, громкую фамилию Шувалов Володин предок получил, скорее всего, как бывший графский крепостной, либо житель деревни, ранее графам принадлежавшей. Никто этим разочарован не был, ибо иметь в родословной хорошего дворника, да еще кавалера серебряной медали, не менее почтенно, чем графа. Как семейная реликвия дедова грамота бережно сохранялась Володей, а после его безвременной смерти хранится его сыном Сережей.





## Добрый гений нашей семьи

*О моей бабушке, Александре Ильиничне Рогинской, носившей домашнее имя Котя, на фоне событий моего детства и юности. Материалом для настоящего очерка послужили воспоминания не только мои, но и моего двоюродного брата, Юрия Львовича Кроля, с которым мы обсуждали все здесь написанное. Использованы также изыскания по истории семьи, сделанные Евгением Михайловичем Рогинским.*

### 1

Под толстым стеклом пресс-папье наливался лазурью морской залив, чудный город уступами поднимался на склоны горы, курившейся дымом. Окна городских зданий разноцветно светились, и если глядеть с разных сторон, то цвет их волшебным образом менялся благодаря кусочкам перламутра, искусно вклеенным в картинку с тыльной стороны стекла. Ничего прекраснее этой вещи в моем раннем детстве я не помню. Я так наслаждался ею, что посреди любимого пейзажа протер безобразную дыру. Позднее я узнал, что красивый город над морем — Неаполь, откуда Котя привезла этот сувенир, нарядный до сладости. Она интересно рассказывала, как с группой туристов поднималась на Везувий, и веселые проводники-чичероне пускали вскачь ослов с восседавшими на них испуганными русскими дамами.



Множество других замечательных вещей можно было найти в тесной Котиной комнате, самой неудобной из занимаемых нашей семьей. Мы с братом постоянно толклись здесь, высоко ценя Котино общество и принадлежавшие ей богатства. В углу стояло давно забытое пациентов зубо­врачебное кресло, обитое пыльным красным плюшем. Один из нас в него садился, второй давил на педали, и кресло могло подниматься, опускаться и вращаться. Еще интереснее были вместительные ящики бюро. Из них вынимались давно оставшиеся часы разных фасонов, нарядные открытки, почтовые марки и ассигнации с царскими орлами, конверты и «секретки» из красивой желтоватой бумаги, палочки алого сургуча, щетки для чистки ломберных столов от мела, пышные страусовые перья — предметы из неведомой нам жизни, казавшейся благополучнее и наряднее нынешней. Все это, вероятно, досталось Коте от покойных родителей. Ее собственное имущество было иного рода: аптекарские весы с роговыми чашками, страшноватые с виду зубо­врачебные инструменты и тонкие пластинки разноцветного воска, тоже из арсенала дантиста. Многие из выдававшегося нам для игр было достойно лучшей участи, но Котя при­держивалась иного мнения. Нас она обожала и рада была убаживать всем, чем могла, сокровищ же своих не ценила.

Высокому авторитету Коти помогало ее близкое знакомство с волшебником Брик-Лебретом. Загадочным образом он узнавал о наших желаниях и обычно спешил их исполнить. Правда, он был осведомлен и о дурных поступках, но благодаря Котиному заступничеству быстро нас прощал. Не иначе, как Брик-Лебрет предупредил Котю о задуманном нами побеге в Африку. Было собрано оружие и другие любимые игрушки, мы тихонько оделись и крадучись вышли через кухню на площадку «черной» лестницы. Там мы остановились в раздумье, но входная дверь за нами вдруг сама затворилась и щелкнула замком. Путь к отступлению был отрезан, мы остались одни в полном опасностей чужом месте, и дружно заревели. Дверь тотчас распахнулась, на пороге стояла смеявшаяся Котя.

Хотя Котя была неизменно добра и ласкова, мне запомнился конфликт, возникший раз между нами. Я, наверно лет пяти-шести отроду, доказывал бабушке, что она не смеет меня и пальцем тронуть, истинное право наказывать дано только маме. Вероятно, я разглагольствовал очень нахально и чем-то ее обидел. Котя вспыхнула и со словами «Значит, не имею права?» закатила мне оплеуху. От обиды я отчаянно ревел, и был долго ею же утешаем. Впервые я понес кару

не за дурной поступок, а за иную точку зрения. Это был редчайший случай, когда Котя оказалась, на мой нынешний взгляд, не совсем права. Он и запомнился благодаря своей необычности. Других обид на Котю или ссор с ней я припомнить не могу.

Сомневаться в праве Коти карать или миловать оснований у нас не было. В нашем доме она была главнокомандующим, взявшим на себя основное бремя забот о семейном благополучии. В предвоенные годы ей было около шестидесяти пяти лет, она оставалась живой, энергичной и властной женщиной. Из раннего детства запомнился случай, показавший нам Котину смелость и решительность.

На Большой Охте, тогда окраине Ленинграда, осенью появлялся цыганский табор. Стоял он на пустыре недалеко от угла Панфиловой улицы и Среднеохтенского проспекта. Мы гуляли там с няней уже по холоду, одетые в зимние пальтишки, и меня поражали голые цыганята, босиком выбегавшие из шатров на снег.

Хорошо помню, как в открытую на звонок дверь нашей квартиры ввалилось толпа яркопестрых, гомонящих цыганок, разом заполнившая прихожую. Целью вторжения были, вероятно, пальто и шапки на вешалке, имевшие в те годы высокую товарную ценность, а также и все другое, что могло быть похищено. Атака была отбита Котей. Громко выкрикивая угрозы, она одна вытеснила за дверь ораву ражих молодых баб. Численность и физическая мощь были на стороне неприятеля, но он дрогнул единственно от силы Котиного духа. Мы с братом поддержали ее испуганным ревом.

Помню единственный случай, когда Котя при нас шумно ссорилась с дедом. Мы, дети, не раздумывая, приняли сторону деда и требовали не обижать его. Не потому, что любили деда больше. Просто мы чувствовали, что Котя сильнее, и вступились за слабую сторону.



Главенствующее положение бабушки в семейной иерархии мы ощущали с раннего возраста.

Осталось в памяти несколько эпизодов, связанных с моим детским членовредительством: помощь неизменно приходила в лице Коти. Раз я зацепился за порог и разбил бровь о ребро железной печки. Было много крови и воплей, Котя отвела меня в поликлинику, где на рассеченную кожу наложили швы. Возникшую панику усугубил братец, радостно известивший вернувшуюся домой маму: «Петька разбил голову, у него мозги вытекают». Другой раз я толкнул Котю под руку, и она вывернула мне на ногу кипевшее содержимое снятой с огня латки.

Потом я проглотил шуруп, и за благополучное возвращение его через кишечник мне была обещана награда — игрушечный танк. К содержимому горшка я стал относиться с большим вниманием и шуруп вскоре обнаружил. Танк был куплен, но игрушку получил не только я, истинный герой происшествия, но и брат. Это слегка испортило удовольствие — из высоких педагогических соображений нам дублировали в те годы подарки, даже на дни рождения, чтобы дети не испытывали друг к другу зависти.

Котя работала в поликлинике зубным врачом. Думаю, что хорошим, на Охте она была уважаемым и известным человеком. Постигала она зубоврачебное дело в Германии, и любила рассказывать, как их учили там относиться к пациентам. Немецкий профессор привел на занятие девочку-подростка с кариозными резцами. Студенты вынесли решение, что лечить их нет смысла, нужно рвать. «Нет», возразил профессор, «передние зубы для девочки — это ее красота, это капитал, которого мы не имеем права ее лишать. Ваш долг сделать все, чтобы зубы девочке хоть ненадолго, но сохранить». Этот Котин рассказ я смог оценить лишь впоследствии, имея опыт контактов с советской медициной.

Раз или два в год нас водили к Коте в поликлинику проверять и лечить зубы. С этой тяжелой обязанностью меня мирило сверление



дырочек в монетах, которое я всякий раз от нее требовал. Гудела бормашина, тонкая латунная пыль вскипала под головкой бора, и в высверленную дырочку можно было вдеть нитку и повесить монетку себе на шею.

## 2

До войны мы занимали четыре комнаты в шестикомнатной квартире, ранее принадлежавшей деду, успешно практиковавшему на Охте врачу. После революции последовало «уплотнение», в квартиру подселили чужих людей, и мы с братом знали ее только коммунальной. Наша семья состояла из шести человек. Старшим был овдовевший в нашем младенчестве дед, вторая по старшинству — Котя, приходившаяся нам не родной, а двоюродной бабушкой. Среднее поколение составляли мама с тетушкой, близкие по возрасту сестры, которые сумели почти одновременно выйти замуж, произвести на свет в 1931 году ровесников сыновей и вскоре разойтись с мужьями, а младшее — мы, росшие вместе двоюродные братья. Дед, очень пожилой и замкнутый по характеру, был поглощен врачебной работой в поликлинике и мало ощущался в доме. Вечера он неизменно проводил за чтением медицинских журналов — лучше всего мне помнится его седая, склоненная над столом голова, освещенная настольной лампой. Дед был не только великим тружеником, но много видевшим бывалым человеком. После окончания Медицинского факультета Московского университета он работал земским врачом в деревне, потом купил медицинскую практику на окраине Петербурга, где пользовался благодарным уважением не одного поколения охтян. Трижды, в русско-японскую, первую мировую и гражданскую войнах, он служил врачом в действующей армии. Его богатый жизненный опыт остался нам с братом недоступным — сперва мы были слишком малы, а когда подросли, не стало деда.

В нашей женской по духу и основному составу семье Котя ведала закупкой продовольствия, ежедневным приготовлением пищи, вероятно, также финансами и, отчасти, уходом за детьми. Важной ее обязанностью было руководство прислужгой. Все взрослые в доме работали, и у нас постоянно жила домработница, совмещавшая обязанности няни с исполнением разнообразных хозяйственных функций. Нанимались на эту должность деревенские женщины, часто молодые девушки, убежавшие в город от радостей колхозной жизни.

Возможность иметь домработницу обеспечивалась наличием у нас темной комнатки рядом с кухней, изначально предназначавшейся бывшим хозяином дома для прислуги.

Я думаю, что в нашей дружелюбной, лишенной снобизма и простой в быту семье этим женщинам было нетрудно ужиться. Одна из них, моя первая нянька Люба, нашла нас после войны, и мы много лет дружили семьями. В доме очень следили, чтобы мы, маленькие, вели себя с домработницами вежливо. Брат хорошо помнит затрещины, полученные от Коти, за грубую выходку по отношению к одной из этих девушек. Проступки такого рода строго карались, но самое страшное наше преступление так и осталось нераскрытым. Акулина, с которой мы жили на даче, приготовила яичницу не с булкой, как приучила нас Котя, а с черным хлебом. В знак протеста мы стали выковыривать хлеб и швырять его хотя и не в виновницу происшествия, но в ее сторону, а пожилая Акулина эти куски подбирала. Мы сознавали, что поступаем плохо, но чувствовали безответность деревенской женщины, не умевшей справиться с разбушевавшимися «барчуками». Она так и не пожаловалась Коте, от чего наш проступок выглядит еще отвратительнее. Мне и сейчас трудно сознаваться в нем; этот позорный случай не устает жечь меня стыдом всю сознательную жизнь.

Не знаю, кто был автором системы нашего воспитания — матери, Котя, или они сообща. Сейчас мне кажется, что система была не совсем разумной. Гулять нас с братом одних не пускали, только в сопровождении кого-нибудь из старших. Желая избежать воображаемых опасностей и дурного влияния, нас искусственно изолировали от жизни за пределами квартиры, воспитывая страх перед неведомой уличной стихией.

Мы с братцем были постоянно вдвоем, и особого голода по обществу сверстников не испытывали. Общались мы больше с детьми из дружеских семей, которых приводили в гости к нам, а нас к ним, чаще на праздники. Обставлялось это иначе, чем принято сейчас, когда дети на равных участвуют во взрослых застольях. Для нас и наших гостей всегда устраивали отдельный столик, желательно в другой комнате. Как лучше, судить не берусь, но нынешние развязные малолетки, шумно требующие внимания старших, мне не нравятся.

В традициях домашнего воспитания, лет с шести к нам пригласили старушку-немку, выполнявшую роль гувернантки: она с нами гуляла, занималась письмом и арифметикой, и, главное, немецким

языком. Почтенная Зинаида Адамовна была очень стара и неизменно засыпала под собственное чтение вслух из нарядной книги «Der Kindergarten». Мы ждали, когда ее голос начинал запинаться, и с восторгом принимались тузить друг друга. Познанию немецкого Зинаида Адамовна способствовала мало. Матерям и Коте, знавшим немецкий язык, это нетрудно было установить, но они, похоже, не контролировали наше обучение.

Старшие щедро делились с нами другим — пока мы сами не приохотились к чтению, нам каждый день читали вслух или пересказывали содержание замечательных книг, украсивших наше детство, да и последующую жизнь. Мне кажется, что сказки Пушкина я знаю чуть не с колыбели. Рано пришли и навсегда остались с нами Буратино и братец Кролик, храбрый Щелкунчик и Маугли, плывущие за золотым руном Аргонавты и могучий Геракл. Рано открылся нам и чудный мир сказки, сплетенной с явью, где таилась среди русалок ведьма, а кузнец дарил невесте царицыны черевички.

Потом мы погрузились в мир океанских просторов и приключений, узнали имена юных Дика Сенда, Роберта Гранта, чудака Паганеля и таинственного капитана Немо, сражались с пиратами за сокровища капитана Флинта. Замечательные морские, и не только морские истории поведал нам и горячо любимый Борис Житков.

На всю жизнь полюбились нам проказы мальчишек с далекой Миссисипи и бессмертная легенда о двух других мальчиках, родившихся в старой доброй Англии — один в семье Тюдоров, а другой просто Кенти. Потом мы были зачарованы Д'Артаньяном и его друзьями, позже застучал в наших сердцах пепел Клааса. Из книг о событиях родной истории лучше других запомнились «Князь Серебряный» и «Тарас Бульба».

Я особенно любил книги о животных Сетона Томпсона и его же «Маленьких дикарей», рассказы Бианки, Пришвина, Ольги Перовской. О юности же человечества мы знали из приключений храброго Нао, вернувшего огонь племени уламров. Не перечислить здесь всех чудных книг, щедро даривших нам радость. От первой встречи с ними прошла уже целая жизнь, они читаны собственным детям и внукам, но продолжают вызывать слезы благодарного умиления.

Мы с братом любили проигрывать друг с другом самые увлекательные места из прочитанного. Котя со смехом цитировала подслушанный ею диалог, вероятно, по мотивам Дюма: «Монсиньер, опустите Вашу шпагу, что будем делать с этим презренным трусом?»

«В рыло ему дать, в рыло!» Стыжусь, но последняя рекомендация принадлежала мне.

В роли действующих лиц этих проигрываний выступали две любимые нами игрушечные обезьянки, изрядно облезлые от частого употребления. Мы играли с ними лет до десяти, пока, начитавшись «Приключений Тиля Уленшпигеля», не начали воспроизводить на беднягах страшные пытки и казни, творимые инквизицией. Тут Котя не выдержала и прикрыла наши садистские развлечения.

Знакомство с литературой побуждало к сочинительству. «На острове Мадейра. Роман. Том 1» — вывел как-то на чистом листе бралец. Я умирал от зависти, ибо сам выдумать такое красивое название не мог. Правда, дальше титула сочинение об экзотическом острове не продвинулось.

Из настольных домашних игр мы много занимались картами. От составления карточных домиков мы быстро шагнули к “акулине”, “пьянице” и “подкидному дураку”. Иногда в наших карточных баталиях, притом не без азарта, принимала участие Котя. Она обучила нас менее распространенным, но увлекательным играм — “шестьдесят шесть” и “пятьсот одно”.

В нашу культурную программу входили посещения Эрмитажа, где работала тетушка. Помню разочарование и усталость после созерцания европейской классики. Хорошо, если на картинах изображались сражения или сцены охоты, а мало понятные библейские сюжеты меня не увлекали. Интереснее были часы-павлин, а самый восторг — рыцарский зал. Благодаря тетушкиным знакомствам, нас пускали иногда в запасник оружейного отдела, где все можно было трогать руками. Признаюсь, что природная тяга мужчин к оружию до конца во мне еще не угасла. Я завидую себе маленькому — хотелось бы вновь примерить рыцарский шлем, взмахнуть мечом или приложиться к арбалету!

У стола, за которым я работаю, крутится пара младших внуков, всему предпочитающих “мультики”, заполнившие их досуг через телевидение и компьютеры. Возможности внуков познавать мир намного превосходят те, что были раньше, но о большинстве известных нам в этом возрасте исторических событий и книжных героев они даже не слышали. Секрет нашей большей «учености» очень прост — старшие в семье находили время заниматься детьми. Низко кланяюсь им за это.

Нашим просвещением занимались все взрослые, но Котя лучше помнится в другом качестве — грех не сказать о ее кулинарных та-

лантах. Удивительно, но сама Котя, обреченная болезнью на строгую диету, приготовленных ею кушаний есть не могла.

Котя стряпала на большую семью, в ее задачу входило делать это быстро и, по возможности, недорого. Кормились мы хорошо, но кулинарные изыски на столе появлялись редко. Зато праздники, выдававшие утробе, хорошо запомнились. С детских лет я не пробовал больше шарлотки, запеченной в чудо-печке: под ее смуглой корочкой скрывалось упоительно нежное нутро, источавшее сладкий сок и аромат яблок. Высшим Котиным достижением были маленькие, жареные на сковороде пирожки с мясом и капустой. Мы любили помогать их созданию — стаканом вырезали из раскатанного теста кружочки, раскладывали на них начинку и зашпывали края. Готовые изделия складывались в накрытую полотенцем миску, куда можно было сунуть жадную руку, выбрать не самый горячий пирожок, подуть на него, и... тут я стыдливо замолкаю, ибо нет слов выразить наступавшее блаженство. Незабываем и прохладный клюквенный морс, которым Котя поила нас во время болезней.

Есть много сладкого считалось вредным. Сладости Котя выдавала нам только после еды и штучно, самим их брать не разрешалось. Многие из тогдашних вкусностей потом исчезли: не стало похожих на монеты разноцветных театральных пастилок, крепко склеивавших зубы настоящих тянучек, одетых снизу в лепесток пергамента, восхитительных сливочных помадок, тоже сидевших в гнездышке из гофрированной бумаги, нарядных фигурок из марципана. С довоенных лет я не пробовал, да и не видал больше крымских яблок — красиво продолговатых, с нежным румянцем на боках. Надо заметить, что дорогие лакомства доставались нам не часто, но мы охотно довольствовались кусочками твердого, как камень, хрусткого сахара, наколотого специальными щипчиками — в те годы еще пили чай вприкуску.

### 3

Как и у всех сверстников, безмятежное время нашего детства закончилось с войной. Мы узнали о ней от мамы, приехавшей из города на дачу в Сиверскую, где с нами жила Котя. В радостном возбуждении мы с братом принялись стрелять из палок и гоняться друг за другом с криками «Ура!» «Какие они еще глупые» — сказала бабушка маме так, что я присмирел, почувствовав по ее тону трагичность случившегося.





На следующее утро Котя наняла редкого в поселке извозчика и отправилась со мною в продовольственный магазин. Мешков у нас было, баранки, сушки и сухари складывались в две большие наволочки. Помните кадры из фильма «Солдат Чонкин», где узнавшие о войне бабы скопом ринулись в деревенскую лавку за солью, мылом и спичками? Бабушка, обученная советской властью, поступила сходным образом, но запасала она основу жизни — хлеб. Считалось, что ее покупка спасла жизнь моей маме, оставшейся в блокадном Ленинграде, да и не только ей. Мне помнится, что часть закаменевших сухек поехала в эвакуацию на Урал, где тоже оказалась весьма кстати.

В конце июля 1941 года мы с братом были вывезены из Ленинграда в Свердловск, куда эвакуировали сокровища Эрмитажа. Специальным эшеленом командовал генерал (ромб в петлице) в форме НКВД, состав охранялся вооруженными солдатами, была к нему прицеплена платформа со спаренными зенитными пулеметами, вызывавшими мое особое восхищение. Шел поезд быстро, почти не задерживаясь на остановках. Помнится, что мы с тетушкой ехали налегке. Через месяц в Свердловск прибыли дед с Котей. Ее стараниями они везли множество тяжелых чемоданов и тюков — как управлялись старики с этим громоздким багажом, было непонятно. Привезенная одежда, белье, одеяла и даже, вероятно, кастрюли очень выручили семью в трудные годы эвакуации.

Из моей недолгой жизни в Свердловске помню громадные, многочасовые очереди в продовольственные магазины. Первой военной осенью некоторые виды продуктов еще поступали в свободную продажу, но по высокой цене, назывались они «коммерческими». В одни руки отпускалось очень мало вожделенного масла, сахара или конфет, поэтому нас с братом обязательно ставили в очередь для получения лишних порций продуктов. Очень скоро «коммерческая» торговля прекратилась, народ кормился скудными пайками, выдававшимися по карточкам. На рынке продовольствие стоило недопустимо дорого.

Для размещения десятков тысяч эвакуированных местных жителей принудительно «уплотняли», что не способствовало их любви к приезжим. Впятером мы занимали небольшую комнату, загроможденную хозяйской мебелью и нашими чемоданами. Мы с братом этим пользовались: игра заключалась в том, чтобы обогнуть комнату по периметру и не ступить ногами на пол. Поставленные «на попа» чемоданы выступали также в роли коней — сидя на них вер-

хом, хорошо было метать друг в друга дротики или рубиться деревянными мечами. Мы много играли дома из-за нежелания выходить во двор. Тепличное домашнее воспитание приносило свои плоды: не слишком приветливых местных мальчишек мы побаивались.

На Урале ютилось тогда великое разнообразие людей из опаленных войной частей страны. Котю навещали порой странные женщины, не похожие на других наших знакомых: они говорили с певучим акцентом и непривычно величали бабушку “мадам Рогинская”. Это были гости из незнакомой нам среды Котиного провинциального детства, проходившего в “черте оседлости”. Думаю, что они давно стали очень далеки ей, но Котя их любезно принимала, терпеливо выслушивала жалобы, и, возможно, чем-то помогала. Разыскалась в городе и женщина, чудом спасшаяся из немецкого плена. Не слишком доверяя официальной пропаганде, Котя отправилась ее расспрашивать. Вернулась она очень грустная и подавленная: страшная картина поголовного истребления евреев, попавших под немецкую оккупацию, полностью подтвердилась.

В январе 1942 года в Свердловск приехала моя мама, вывезенная на самолете из блокированного Ленинграда. В дороге изголодавшихся людей хорошо кормили, и склонная к жертвенности мама умудрилась даже запасти для нас кое-какие деликатесы. Багаж у нее был иного рода, чем у Коти. Среди нескольких килограммов имущества, разрешенного к вывозу на самолете, к нам приехали две замечательные детские книжки и искусно сделанная обезьянка-моряк. Она получила имя Габик и хранилась мною 60 лет, но сейчас отдана в фонды “Музея игрушки”, где любознательный читатель может с нею познакомиться.

Вскоре мама увезла меня в Самарканд, куда была эвакуирована Военно-медицинская Академия, где она работала. Думаю, что Котя отпускала меня неохотно, я впервые надолго разлучался с ней и с братом.

В Средней Азии началась для меня совсем иная жизнь, чем в Свердловске. При Коте мы числились детьми, спроса по хозяйству с нас не было. В Самарканде мама работала с утра до позднего вечера. Моей обязанностью стала закупка продуктов, а со временем и варка каши; за отсутствием кастрюли она готовилась в бывшей плевательнице, заимствованной в соседней больнице. Впрочем, наша жизнь в Самарканде составляет особую тему, касаться ее здесь нет возможности. За трудную жизнь вне большой семьи и слабый родитель-

ский надзор пришлось платить — я часто болел, стал хуже учиться и обрел ряд привычек не лучшего свойства. Зато я многое повидал и хорошо прочувствовал главный закон жизни — если хочешь быть сытым и не мерзнуть, надо крутиться. Нелегкая жизнь вдвоем очень сблизила нас с мамой, и эта особая близость, очень дорогая и мне и ей, сохранялась долгие годы.

Котя с братом, тетушкой и дедом оставались в Свердловске, перенаселенном и голодном. Помню страшный Котин рассказ про обезумевшую от голода женщину, которая на ее глазах собирала и жадно глотала рвоту, извергнутую пьяным мужиком. Эвакуированные бедолаги, лишившиеся в чужом городе продовольственных карточек, денег и вещей, не составляли тогда большой редкости.

Насколько я знаю, оставшаяся на Урале часть нашей семьи избежала серьезных лишений благодаря Котиной прозорливости. В Свердловске работали магазины «Уралзолота», скупавшие драгоценный металл у старателей. Там принимали на вес и золотые украшения, сплюсненные молотком или переплавленные. Семейные кольца и цепочки, сбереженные Котей наперекор обыскам и конфискации военного коммунизма, отоваривались здесь драгоценной мукой. Часть семейных «сокровищ» была вручена Котей при расставании моей маме. Их тут же, прямо в поезде, украли, так что облегчить нашу полуголодную жизнь в Средней Азии Котина заботливость не смогла.

#### 4

В Ленинград мы с мамой вернулись летом 1944 года. Меня поразила пустыньность города и бесчисленные железные кровати, усеивавшие развалины домов и пустыри; из них строили даже заборы, ограждавшие возникшие кое-где огороды. Было страшно сознавать, что бывших владельцев этих ржавых остовов убила блокада.

Принадлежавшая нашей семье часть квартиры оказалась занятой, старая мебель и вещи исчезли. Первое время мы ютились в довоенной комнате деда, где поселилась наша бывшая домработница. Сложности возникали в дни, когда к молодой женщине являлись ухажеры. Увешанные медалями сержанты вызывали у меня благоговение, по их заданию я мотался на толкучку за праздничной закуской, и очень удивлял их тем, что возвращал сдачу. Ночевать в гостевые дни нам приходилось у знакомых.

Выборочность памяти хорошо проявляется в моих воспоминаниях. Как налаживался после возвращения быт, и мы обрели свою комнату, она не сохранила. Зато хорошо помнится газированная вода, сдобренная сладким сиропом с грушевой эссенцией (можно было просить ординарную, но лучше двойную порцию на стакан) — единственное ненормированное тогда лакомство. От его обильного употребления в животе у меня постоянно булькало. Мама приходила с работы очень поздно, в качестве изысканного угощения я оставлял ей это пойло в стеклянной банке (за отсутствием стакана) рядом с ужином.

Со сладким связан позорный случай в моей биографии. С зимы сорок четвертого года наша жизнь стала сытнее. Обладателям ученой степени начали давать льготный паек, защищенная мамой перед войной диссертация оказалась весьма кстати. Наши продовольственные карточки были «прикреплены» к магазину, обслуживавшему сотрудников Военно-медицинской академии — до сих пор не могу пройти мимо него равнодушно. «Сахарные» талоны здесь отovarивали не слипшимися комьями конфет-подушечек, а белоснежным, мельчайшим, американского изготовления сахарным песком (говорили, что он производился из сахарного тростника). Мама решила копить этот замечательный продукт для наших свердловчан, считая их голодающими. Я был с нею согласен, но порой запускал жадную ложку в заветный мешочек. Подглядывавшая за мной соседка доложила матери: «Гляжу — песок хлябает». Ревизия подтвердила мой позор, я отлично помню запоздалое раскаяние и стыд от презрительного материнского молчания.

Наши уральцы вернулись в Ленинград зимой сорок пятого года без дедушки — он остался на свердловском кладбище. Моя жизнь сразу переменялась, я был отстранен от хозяйственных забот, которые целиком взяла в свои руки Котя. В разговорах того времени постоянно звучало слово «бронь» — так обозначалось закрепление жилой площади за эвакуированными ленинградцами. Судебные тяжбы за возвращение нам еще двух комнат завершились благополучно. Удалось найти и отсудить даже несколько предметов сохранившейся мебели, вывезенной из квартиры бывшим управдомом. Как всегда, сильно выручила нас Котина дальновидность. Часть семейного добра она сдала перед отъездом из Ленинграда на хранение в ломбард, оно уцелело и благополучно вернулось в дом.

Должен заметить, что не всегда Котины усилия сберечь материальные ценности имели успех. Ее воспитание корнями уходило в

неторопливый девятнадцатый век, когда наряды служили многим поколениям и хранились в семейных сундуках. Был пахнувший нафталином сундук и у нас. В нем Котя хранила «про черный день» сбереженный в ломбарде куний палантин — принадлежавший покойной бабушке роскошный меховой плащ, напоминавший фасоном кавказскую бурку. Кончил этот палантин плохо: волос изменил цвет, пересохшая мездра стала ломкой. Первейшую семейную ценность погубило слишком долгое и ненадлежащее хранение.

Главным Котиным подвигом в послевоенные годы надо считать решение жилищной проблемы. Она нашла в РЖУ знакомого техника, который за взятку подготовил проект раздела нашей коммунальной квартиры на две и добился его утверждения. Соседи остались в одной половине квартиры, выходящей на парадную лестницу. Мы, несколько потеряв в площади, стали обладателями отдельного жилья, в которое входили через бывший «черный» ход. По тогдашним временам это была неслыханная удача. Никто другой в семье, кроме Коти, на такие свершения способен не был. Она была прагматиком и человеком действия, наши же матери были лишены ее предприимчивости и имели чересчур идеальные понятия о жизни.

К нашей половине квартиры отошла недействующая ванная комната, быстро превращенная в жилую. Вспомнил об этом из-за удивительной ванны, которая там находилась — она была сделана из красной меди. Представляю, какой жар-птицей эта ванна гляделась когда-то раньше, до сияния начищенная прислугой! Сей реликт исчезнувшего быта я знал только потемневшим, в зеленых пятнах окислов.

После войны Котя уже не работала и занималась только домом. Жили мы трудно. Денег хронически не хватало, семья из пяти человек существовала преимущественно на доцентскую мамину зарплату. В Эрмитаже, где работала тетушка, сотрудникам высочайшей квалификации платили тогда позорно мало, как и всем «музейщикам» страны. Вести хозяйство в те годы было неизмеримо тяжелее, чем сейчас. Напомню, что отсутствовали газ, центральное отопление, горячая вода, ванна, холодильник. Еда готовилась на керосинках и керогазах, реже на примусах. Иногда, при большой готовке или стирке, затапливалась плита, занимавшая половину кухни. Часто еду Котя ставила упревать в комнатные печи.

Купить сухие хорошие дрова составляло проблему. Пилить, колоть и поднимать их из сарая на третий этаж было нашей с братом обязанностью. В школьные годы мы, помнится, благополучно с ней



справлялись, в студенчестве почувствовали себя очень занятыми и отговаривались постоянным «завтра». Котя обижалась, и, стыдно признаться, иногда нанимала таскать дрова пьяницу-соседа.

Зимой в квартире было холодно и сыро. От влажности в комнатах отставали обои и плесневели книги, вода на подоконниках в сильные холода замерзала. Для тепла следовало обильно топить печи дважды в день, но запаса дров на это всегда не хватало. В старости Котя сильно зябла и жалась к горячей печке. На стул рядом с ней забиралась Лялька, наш спаниель, тоже любившая тепло. Так и остались в моей памяти две гревшиеся рядом у огня старушки — Котя и кудрявая черная собачка.

В каждой семье устанавливаются свои порядки. У нас их автором была Котя. О еде полагалось спрашивать хозяйку и есть то, что она указала. Самодеятельность в этом деле не одобрялась, она могла нарушить хозяйские планы. Дорогие или дефицитные продукты экономили, сыр и колбасу на бутерброды Котя резала так тонко, что они едва не просвечивали. Не скажу, что нам это нравилось, но стало привычным: долгие годы после этого толсто нарезать закуски казалось мне кошунством, я до сих пор не научился это делать. С тех же полугодовых лет долго сохранялась неловкость, когда меня сажали за стол в чужом доме — была подсознательная боязнь «объесть» хозяев. До сих пор я не могу без стыда выбрасывать в помойку ненужные продукты, а в больнице целиком съедаю свою порцию, как бы отвратительна она не была: выданная тебе казенная “пайка” — это святое. Жизненные правила, запечатленные смолоду, трудно поддаются изменению.

Котя происходила из состоятельной семьи, свойственная ей бережливость и запасливость были воспитаны исключительно нищетой и голодными годами, начавшимися после революции. Они сочетались в ней с гостеприимством и стремлением накормить голодного. Заходивших к нам школьных товарищей Котя неизменно сажала за стол в самые трудные времена. Голодной послевоенной зимой немецкие военнопленные с ближней стройки ходили по квартирам побираться. В нашу дверь звонил иногда жалкий, плохо одетый и замерзший солдат с постоянной каплей под носом. Продукты выдавались по карточкам, нам их всегда не хватало, но Котя неизменно отрезала немцу кусок хлеба. Подавала недавнему врагу, соплеменники которого уничтожили миллионы евреев, в том числе многих ее родственников, а он, не исключено, принимал в этом участие.





Практичность, стремление экономно вести хозяйство вовсе не означали, что Котю лично волновала материальная сторона жизни. Она заботилась только о нас и наших матерях, для себя ей ничего не было нужно. Котя страдала желчнокаменной болезнью, соблюдала строгую диету и питалась, в основном, хлебом с чаем и кашами. Заставить Котю приобрести себе какую-нибудь обнову было невозможно. Наряжалась она в одежду, давно подлежащую выбрасыванию, преимущественно в обноски наших матерей. Не стеснялась для тепла пользоваться мужским бельем — надевать под юбку кальсоны. Никаких украшений она не носила, косметикой и парикмахерской сроду не пользовалась. Во всем этом проявлялось ее полное, редко свойственное женщине безразличие к наружности, к внешнему виду человека и его жилища. Из-за равнодушия к вещам после Котиной смерти от нее не осталось ничего материального, кроме заношенной до блеска кацавейки, очков, да кучки зуборачебных инструментов.

Впрочем, остались две книги, ею постоянно читанные, в рваных и грязных от частого употребления обложках. Это «Война и мир» и «Анна Каренина». Котя была страстной почитательницей Льва Николаевича Толстого. Она перечитывала его книги десятки раз и всегда находила незамеченные прежде мысли или события. Мы с братцем, по молодой глупости, пытались дразнить ее, понося классика с позиций В.И. Ленина, но успеха не имели. Зачитанные ею книги сохраняла мама, теперь эти тома стоят у меня на полке. Жена огорчается, что они имеют неказистый вид, а мне эти книжки, знавшие Котины руки, дороже всех прочих.

Отличие от своего кумира, верующей Котя не была, однако наличие высшей силы, определяющей судьбу мира, не отрицала. “Что можем знать об этом мы, плесень на частице мироздания?” задумчиво говорила она в ответ на наши провокационные заявления о том, что бога нет. Новые открытия в области естествознания всегда живо интересовали ее.

К началу пятидесятых годов Котя почти перестала выходить на улицу — болели ноги. Иногда, по особой просьбе, мы под руки выводили ее прогуляться в магазин напротив. Называлось это «идти на свиданием с полюбовником, мясником Васей». Выходила она в неизменном пальто, привезенном ею из Германии за полвека до того, и его ровеснице, шляпке-ветеране. Эти нечастые выходы показали мне, как благодарна профессия врача. Кто-нибудь из старых охтян

часто узнавал бабушку в магазине, ставил в очередь перед собой и уважительно объяснял окружающим, что это «доктор Рогинская, она и мне, и родителям моим зубы лечила». Люди часто спрашивались, нельзя ли придти со своими проблемами к ней домой.

Из-за Котиной популярности в очереди иногда возникали скандалы. Находилась женщина, недовольная ее появлением впереди себя, и заводила обычные в таких случаях речи: «Барыня! Шляпу надела, и постоять не может!» На что Котя хладнокровно отвечала: «Верно, барыней родилась, барыней и помру». Ответ предполагал, что самой скандалистке барыней вовек не стать, что было чрезвычайно обидно.

Заметить признаки барства во внешнем виде Коти казалось в те годы невозможным, от ее туалетов явно отказались бы нынешние бомжи. Но, верно, было в ее поведении, манерах или осанке нечто, выделявшее Котю из охтенской толпы и указывавшее на принадлежность к «бывшим». Впрочем, именовать так трудовую интеллигенцию, происходившую из буржуазной среды и много потерявшую с приходом советской власти, не совсем верно.

## 5

Как хочется вернуться в прошлое, хоть в шелку взглянуть назад через завесу времени! Иначе не вспомнить утерянные памятью Котины черты, ее шутки, смешные словечки и прозвища, которыми она наделяла знакомых. Без них пропадают свойства живого, пронизательного, склонного к юмору человека, остается лишь перечень его домашних свершений. Котя обретает в моем изложении стандартные черты «доброй бабушки», умелого кормчего семейного корабля. Это мешает оценить истинное богатство ее незаурядной личности.

Мне кажется, что бытовые и хозяйственные дела, которыми Котя в основном занималась, по существу мало интересовали ее, гораздо охотнее она разговаривала на более «высокие» темы. Так называемых «трудных» вопросов для нее не существовало; в ее ясных и прямых ответах всегда чувствовалось хорошее естественное образование, полученное в молодости. Об окружающих Котя судила без предубеждения, их внешний вид, манеры и образ жизни не имели для нее существенного значения. Этим она отличалась от наших матерей, усвоивших с юности презрение к «мещанству» во всех его

многообразных проявлениях. Котю это не интересовало, основным критерием оценки человека служили для нее только его душевные свойства.

О событиях незнакомой мне части Котиной жизни я могу судить лишь по обрывкам семейных легенд, но и в таком виде ее судьба просится на страницы романа. Котя происходила из состоятельного еврейского купеческого рода. Не могу удержаться и сделаю небольшое отступление, посвященное событиям (скорее анекдотам) из истории семьи, известным нам больше от самой Коти. Самым колоритным ее предком был Меер Рогинский, вероятно, прихорившийся ей прадедом. С конца двадцатых годов 19 века он служил управляющим обширного белорусского имения графа Остермана-Толстого, в котором проживало более трех тысяч крепостных душ. Под его управлением доходность поместья возросла в несколько раз. Своему патрону, постоянно жившему в Италии, он регулярно доставлял деньги, гречневую крупу и крепостных слуг. Граф, либерал и вольтерьянец, в конце жизни стал атеистом и, согласно легенде, любил беседовать с иноверцем-управляющим на религиозно-философские темы. Сговориться им не удавалось: в критике Нового Завета наш предок охотно поддакивал собеседнику, но сомневаться в истинности Ветхого Завета, священной для евреев книги, отказывался.

После смерти патрона Меер оставил должность и завел собственную лесоторговлю на основе жалованных ему графом лесных дач. Большинство деловых партнеров прапрадеда были поляки. Как рассказывали, во время польского восстания его вызвал Могилевский губернатор и приказал доносить о настроениях знакомых поляков. Отказаться он не посмел, но поспешил уведомить соседей, что назначен шпионом Его Величества и впредь отказывается вести разговоры на политические темы.

Меер был по характеру человек крутой и недобрый. Он усвоил обычаи шляхты, среди которой жил — имел собственный выезд и подававшего ему трубку казачка, а подопечные крестьяне даже после ухода Меера с должности и отмены крепостного права продолжали ломать перед его домом шапки. С окрестными помещиками держался независимо и позволял себе отпускать в их адрес шутки, что в обществе ясновельможных панов еврею было не положено.

В семье Меер был самодуром — любимым внукам вручал подарки с лаской, нелюбимым грубо швырял через стол, но очень почитал мать. Известна сцена в кабинете прапрадеда: туда зашла ветхая



Котя с сестрами и братьями. Фото 1880–1890-х гг.

старушка и в присутствии посетителей отвесила ему оплеуху. Хозяин смущенно объяснил гостям, что «маме все можно, у нее сливки к кофе оказались прокисшими». Дожил Меер до глубокой старости. Замечательно сделанное им перед смертью распоряжение: «Я всегда был франтом. Пусть саван мне сошьют в талию».

Похоже, что Меер понимал и ценил искусство. В семье сохранялся его портрет кисти Тараса Шевченко, Котя боялась в детстве пронзительного жесткого взгляда изображенного на картине предка. Предметы искусства приобретались им и в заграничных путешествиях, но потомки оценить их не умели. Котя помнила, как в детстве она с братьями прыгала по сложенным в сарае рамам и наслаждалась хрустом вставленных в них стекол — то были привезенные ее прадедом из Италии венецианские витражи.

Число потомков Меера нам не известно, но, вероятно, оно значительно. Только у одного его сына Лейба (Льва), приходившегося Коте дедом, было неустановленное число дочерей и четверо сыновей; все сыновья получили высшее образование, что для евреев в то время было редким явлением. В лице многочисленных потомков Меера Россия обрела немало полезных образованных граждан — медиков, инженеров, ученых, коммерсантов, юристов, а во время войн — солдат. В разветвленной семье Рогинских встречались и люди необычной судьбы. Одна из дальних Котиных родственниц кончила медицинский факультет Сорбонны и несколько лет служила врачом в гареме не то у Тунисского бея, не то в Алжире, о чем написала потом книгу.

Лесоторговля оставалась семейным занятием Котиной ветви семьи Рогинских, бывших купцами второй гильдии. Их торговое дело, по одной версии, к началу прошлого века захирело, и Котин отец, мой прадед, кончал деловую жизнь банковским служащим, а по другой — было самоликвидировано ввиду нежелания разъехавшихся по столицам сыновей его наследовать.

Котиных родителей, как было тогда принято, поженили в очень раннем возрасте, еще подростками — чтобы познакомить жениха с присватанной невестой, его снимали в саду с яблони. Благополучие молодой семьи обеспечивалось богатством мужа, вклад жены был иного рода: ее отец был известен своей ученостью и занимал должность обер-раввина Варшавы, что высоко котировалось в той среде. Молодой женщине долго не удавалось родить ребенка, и она обратилась за помощью к цадику (духовному наставнику). Тот дал ей такой

совет: “Хотя ты богата и горда, ступай по местечку, стучись в каждый дом и проси милостыню на пеленки для младенца”. Прабабушка смирила гордость, выполнила испытание и благополучно произвела на свет шестерых детей, в том числе Котю.

Теплое время года семья Рогинских проводила на Днепре, в построенной все тем же Меером просторной усадьбе в местечке Стрешин под Могилевым. Вольную деревенскую жизнь, включавшую набеги на поповский сад вместе с соседскими детьми, Котя вспоминала всегда с нежностью. С тех времен, наверное, она очень полюбила природу. Когда мы, маленькие, жили с ней на даче, она любила рано вставать, и с просветленным лицом рассказывала, как чудесно поднималось солнце и пели птицы. Возможно, что свойственная Коте естественность тоже брала начало из деревенского детства.

Для обучения детей в Стрешин приглашались учителя. Особенно ярко запомнился Коте преподаватель музыки, бывший крепостной, за редкий талант посланный барином в консерваторию. Артистической карьеры он не сделал из-за обычной российской «слабости». Накануне застоя, когда душа музыканта горела, он играл на скрипке с такой страстью и тоской, что обитатели дома собирались слушать его перед окнами. За пьянство бедняга был уволен и, вероятно, скоро погиб. Котя на всю жизнь сохранила чувство семейной вины перед этим незаурядным человеком.

Главные буржуазные добродетели — скрупулезная честность, верность слову и долгу, были впитаны Котей из атмосферы, царившей в семье. Она рассказывала, как, будучи еще совсем девочкой, отправилась по просьбе отца в банк и получила там без всяких формальностей очень большую сумму денег. Гарантией была безупречная деловая репутация купцов Рогинских, которую берегли в те времена как высшую ценность.

Из времени учебы в Могилевской гимназии остался рассказ о том, как одноклассница обозвала Котю жидовкой. Котя была крепкой, деревенской закалки девочкой, и защитила себя, как умела: задрапа обидчице подол и публично отшлепала. В чопорной обстановке женского учебного заведения разгорелся скандал. Классная дама так увещевала провинившихся девиц: «Для Господа все равны, и христиане, и иудеи. Быть может, он еще вразумит Рогинскую, и она крестится. И помните, наша женская доля — терпеть и подчиняться». Последнюю фразу Котя любила в шутку цитировать — так популярно она не соответствовала ее независимому характеру.

Самостоятельность и решительность, верно, унаследованные от Меера, она проявляла смолоду. Против воли любимых и почитаемых родителей, окончившая гимназию барышня перебралась из провинциального Могилева в Петербург. Как и на какие средства она здесь существовала, я точно не знаю. Приезжавшим в столицу провинциалам помогали устроиться студенческие землячества, повсеместно возникавшие в те годы. Известно, что Котя зарабатывала уроками и переводами (сохранилась даже фамилия дамы, на которую она работала «негром» — Бекетова), возможно, ее поддерживали и родные, простившие строптивую дочь. Сильной нужды она, похоже, не испытывала — дважды Котя выезжала из Петербурга за границу, присоединившись к дешевым туристским группам учителей народных школ. Благодаря этим поездкам и появился в доме так любимый мною в детстве неаполитанский сувенир.

В Петербурге Котя училась на естественно-исторических женских курсах, организованных П.Ф. Лесгафтом. Любознательную и активную студентку приглашал работать к себе будущий Нобелевский лауреат И.П. Павлов, но Котя отказалась — она не чувствовала себя способной целиком отдаться науке. Очень живая и общительная девушка вращалась в вольнолюбивой студенческой среде, где навсегда уверовала в демократические ценности. Это не мешало ей позднее посещать собрания множества партий — от октябристов до анархистов — исключительно из интереса к разным точкам зрения. О ее живости и любопытстве друзья сложили даже присказку: «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают, а Рогинская тут как тут!»

Из своих поклонников Котя вспоминала студента-богослова, которого она невольно, но жестоко обидела. Он ухаживал за ней явно с серьезными намерениями. В комнате, где она жила, висела хозяйская икона с горящей лампадой, и молодой человек заговорил об их возвышающем душу действии. Котя объяснила, что судить об этом не может, так как она еврейка. «Как вы смеете!» вскричал тот в отчаянии, имея в виду не оскорбление святынь, а дерзость иноверки, посмевшей увлечь православного человека. Неудачливого ухажера Котя выставила, однако специфические трудности еврейской девушки, жившей в христианской среде, не заставили себя ждать в более серьезной форме.

Поворотным в ее столичной жизни оказался несчастный роман с адъюнктом Военно-медицинской академии. Молодой человек при-



нял участие в студенческих беспорядках и был сослан в Сибирь. Сопровождать его можно было только в качестве жены. Для заключения церковного брака Коте требовалось креститься, что означало предательство по отношению к родным и близким, полный разрыв с взрастившей ее средой. Пойти на это Котя не смогла. Она рассказывала, что в традиционных еврейских семьях по крестившейся дочери объявлялся семидневный траур, после чего она переставала существовать для родственников.

Кончилась история трагически: Котин избранник погиб в ссылке от чахотки. Ответственность за смерть близкого человека Котя приняла на себя, это наложило глубокий отпечаток на ее дальнейшую судьбу. Молодая цветущая женщина навсегда отказалась от устройства личной жизни и, похоронив родителей, прилепилась к семье сестры, заменившей ей свою. После ранней смерти сестры заботу о ее дочерях и внуках она приняла на себя.

Своим долгом Котя считала обеспечить нам с братом безоблачное детство и освободить любимых племянниц от домашних забот, дать им возможность успешно работать и иметь досуг. Всего этого она достигла, взвалив на свои плечи семейное хозяйство. Делалось это просто и естественно, в ее поведении не было ничего натужно жертвенного или демонстративного. Потребность отдавать себя близким людям была главным свойством прекрасной Котиной души, за свою преданность и доброту она не требовала ни награды, ни признания заслуг.

## 6

Ныне по возрасту я почти догнал Котю того времени, о котором пишу. Незаметно я стал патриархом обширного клана. И с грустью замечаю: чем старше я становлюсь, тем меньше становится возраст внуков, для которых я остаюсь интересным и авторитетным.

То же происходило и в отчей семье — мы выросли, а Котя старела, наши отношения постепенно менялись. Из милых деток мы превратились в ершистых и задиристых подростков. Как и большинство юных, мы полагали себя носителями конечной истины и не слишком интересовались уже очень старым человеком. Видеть же и ценить его постоянную заботу о нас мы не умели. Из-за крайней поглощенности собою образы близких людей того времени в моей памяти расплываются и тускнеют.

Думаю, что Коте было нелегко с нами. Она старалась не вмешиваться в наши дела, никогда не читала нотаций и не навязывала свое мнение, однако ее молчаливую оценку событий мы легко угадывали. Наши увлечения она всегда поддерживала, даже когда они были очень далеки ей. Подростком я начал заниматься охотой и первых своих жертв, дроздов-рябинников, гордо приносил хозяйке. Котя изображала восхищение, не жалела труда щипать и чистить птичек, а потом торжественно подавала их на стол. Видела бы это моя жена, согласная угощаться дичью, но ее обработку и изготовление неизменно возлагающая на охотника!

Важные события того времени затерялись, случайно задержались в памяти несущественные мелочи. Иногда наши развлечения носили вредительский характер и справедливо раздражали Котю. Запомнился случай, когда, резвясь в тесном коридоре, мы с братом выбили филенку из двери уборной и бурно веселились от содеянного. Котя так накричала на нас, что ветхая дверь была, против обыкновения, немедленно починена. В том же учреждении стульчак на унитазах я разрисовал цветами и листьями. Получилось красиво, но масляная краска очень долго сохла, что создало понятные неудобства для всех обитателей квартиры. Сладости в послевоенные годы Коте приходилось от нас прятать, иначе мы их немедленно съедали. Помнится случай, когда Котя сама предложила нам отыскать заветный кулек. Мы тщетно обшарили всю квартиру. Радостная Котя торжествуяще извлекла спрятанные в кухне конфеты из... кожаных керосинки.

Лет в 14–15 мы увлеклись фольклором и записывали в общую тетрадь все непристойные стихи и песни (включая знаменитого Луку Мудищева), которые сумели запомнить. Как-то я с ужасом увидел, что перестилавшая мою постель Котя наткнулась под матрасом на драгоценную тетрадку и внимательно ее изучает. Меня охватило жгучее чувство стыда, смешанного со страхом, что позорную улику придется обсуждать. Котя ничем не выдала своего открытия. Я думаю, что поступил бы на ее месте так же, разве что посоветовал бы хранить фольклор в более укромном месте.

С возрастом наш вкус поменялся к лучшему. В десятом классе мы организовали с товарищами литературный журнал «Восход». Привлеченные из соседней женской школы девочки красивыми почерками тиражировали его первый номер в количестве трех экземпляров. Был собран материал для второго номера, «гвоздем» его считался

очерк «Клопы» нашего прозаика Генки Калущкого. Впечатления тягостно нищей жизни в коммунальной квартире-клоповнике были переданы им очень выразительно и явно имели «не тот душок». Словом, элементы фрондерства были готовы проникнуть на страницы «Восхода».

Дело происходило зимой 1948/49 года, когда гонения на «идеологическом фронте» приняли угрожающий размах. Наш журнал был самодельный, а недозволенная свыше инициатива такого рода была в то время весьма опасна. Будь я на месте родителей, то запретил бы нам издательские затеи, но они этого не сделали. Матери понимали всю пользу и радость от первых творческих опытов — в либеральной школе, где они учились, такая самодельность горячо поощрялась. В нашей школе появление “Восхода” вызвало тревогу администрации, второму номеру журнала выйти не удалось, но дело обошлось без скандала. Всем добрым людям, которые имели возможность, но не захотели проявить бдительность, моя запоздалая благодарность.

В школьные годы мы с братом не были комсомольцами. Никто не отговаривал нас от вступления туда, но партийных в семье не водилось, и мы чувствовали, что «состоять в рядах» не считалось близкими почтенным делом. Откровенно обсуждать с нами политические вопросы в доме было не принято. Думаю, что старшие боялись разговоров на опасные темы, продолжение которых в другом месте могло грозить большими неприятностями. Возможно, они не хотели обречь нас и на раннее двуличие, неизбежное при столкновении официальных и домашних точек зрения. Предполагалось, что с возрастом мы выработаем собственное, а не навязанное понимание трудных общественных вопросов. Мы хорошо знали, что наши старшие полагают достойным, а что непорядочным в человеческих отношениях, эти семейные оценки и помогали противостоять потокам идеологической обработки, которую обрушивали на нас школа, радио и печать. Должен сознаться, что полного иммунитета к ней я все-таки не обрел, и остатки глубоко проникшей скверны выдавливал из себя долгие годы.

Подозреваю, что воспитательный метод наших родителей был весьма труден для них самих. Я бы не мог спокойно выслушивать разглагольствования своих чад, настоянные на людоедской пропаганде, при этом не обрывать их, а мягко подводить к возможности иной точки зрения!

Осторожность с нашим «политпросвещением» сочеталась в семье с поступками иного рода. В конце сороковых годов с неделю ночевала у нас приезжая незнакомая женщина. Позднее мы узнали, что это была выпущенная из заключения тетушкина одноклассница. Явилась она в лагерной одежде, голодная и без денег, не имея родных и крыши над головой, даже права находиться в родном городе. Через несколько дней гостя исчезла — ее снова арестовали. Эта безвинная «зека призыва 1937 года» не была близкой к нашей семье, но оставить несчастную женщину на улице наши матери и Котя не захотели. Тетушку по ее поводу вызывали потом в «Большой Дом», но крупных неприятностей, как могло быть, не последовало. Чтобы принять в те годы такую гостью, требовалось мужество.

Я думаю, что наши старшие искренне пытались верить в идеи социализма. Молодость матерей пришлась на двадцатые годы, время обновления и надежд. Следующие десятилетия принесли тяжкое похмелье. Страдали больше не от бытовых тягот, верных спутников советской жизни, а от беспримерного духовного гнета и ужаса всеобщего «госстраха», прочно утвердившихся в стране.

Значительно более старшая и прагматичная по складу ума Котя относилась к победившему социализму более скептически. Она признавала многие из достижений советской власти, но любила объяснять нам с братом, как бурно развивалась Россия в начале века, как русский капитал вытеснял иностранный, росли грамотность, богатство, и престиж страны. Из этого следовало, что перспективы и так были неплохими, можно было обойтись без социалистической революции. В наши студенческие годы Котя стала более откровенной. Свое отношение к большевикам она выражала краткой формулой: «Кабы они передохли!» Когда умер Сталин, страна рыдала на его поминках, а мы волновались — не стало бы дальше еще хуже. Котя оставалась спокойной. Она полагала, что все по справедливости — «собаке собачья смерть», а хуже быть не может. И оказалась права.

## 7

Время спешило — мы кончили с братом школу, оба поступили в Университет. В нашей дружной семье было принято делиться новостями и обсуждать главные из происходивших с каждым событий. По молодости наши дела казались нам самыми важными, мы были

так погружены в них, что жизнь старших занимала нас меньше, чем следовало. Многие особенности нашей жизни были, несомненно, чужды домашним, в особенности Коте, принадлежавшей другому времени. Не только ее, но и остальных женщин очень огорчали в студенческие, да и постстуденческие времена наши нетрезвые возвращения домой. Подавать к столу вино было принято в семье только по большим праздникам, водки же в доме никогда не держали. Мы с братцем стали первыми, кто по достоинству оценил сей напиток.

Котя старела. По-прежнему она занималась семейным хозяйством, но справляться с ним ей с каждым годом было труднее. Потихоньку ее заменяла моя мама, но бразды правления Котя уступала ей неохотно. Как мне помнится, при обсуждении семейных дел с постаревшей Котей уже меньше советовались, а старались деликатно подвести ее к принятым решениям. Постепенно она становилась как бы президентом парламентской республики: теряла реальную власть, но оставалась почитаемым и любимым старейшиной семьи.

Своих друзей у Коти было мало, в послевоенное десятилетие все они исчезли. Изредка к ней приезжали из Москвы брат и племянница. Потом и они умерли, людей ее поколения вокруг не осталось. Вероятно, она тяготилась одиночеством, но утверждать этого не смею — переживания такого рода Котя оставляла при себе. Большую часть дня она проводила одна, с работы или учебы домашние возвращались поздно, а вечерами нередко уходили к друзьям. Недостаток общения, который должна была чувствовать Котя, следовало учитывать, больше развлекать ее разговорами, да и просто своим присутствием дома, но это не приходило нам в голову или, что еще стыднее, казалось слишком обременительным. О чем думала, что вспоминала Котя в эти одинокие часы, соединявшиеся в месяцы и годы? Об этом уж никогда не узнать.

К женскому рукоделию склонности у Коти не было, в лучшем случае она грубо чинила собственную, всегда ветхую одежду. Коротать время ей помогали книги. Она много читала, но кроме сочинений Льва Толстого и Чехова, я не могу вспомнить, что из них ей нравилось. Точно любила она «Слово о словах» Л. Успенского — заимствованным оттуда смешным именем «глокая куздра» она называла придурковатую знакомую даму. За отсутствием лучшего, иногда Котя перечитывала растрепанные тома французских приключенческих романов из серии «Похождения Рокомболя». Поэзия ее не ин-

тересовала, сочинение стихов она «прощала» лишь двум авторам: Пушкину и Гейне. Последнего она ценила за ироническое отношение к жизни, вызывающую смелость, и, не исключая, за еврейское происхождение поэта, принадлежавшего немецкой культуре. В его положении, возможно, она находила какие-то важные для себя параллели.

Была в Котином поведении особенность, до конца мне не понятная. Она выросла в образованной семье, где, вероятно, строго не соблюдались правила традиционного еврейского быта. Однако ее корни уходили в провинциальную еврейскую среду с ее специфическими особенностями. Тем не менее, я не запомнил, чтобы Котя рассказывала нам об обычаях и праздниках своего детства или пела еврейские песни, лишь изредка она готовила еврейские кушанья — фаршированную гусиную шейку «хэлзл» и сладкий «тэйглах».

Трудно представить, что на еврейскую тему в нашей семье было сознательно наложено табу. Скорее, ей не способствовала обстановка в доме — наши матери были воспитаны иначе, чем поколение Коти. Религиозных людей в семье не было. Родители не стремились сделать дочек еврейскими барышнями, по воспитанию они ничем не отличались от русских сверстниц — разве что не посещали в школе (обе учились в Выборгском коммерческом училище) уроков закона божьего. Традиционного еврейского быта они не знали и не интересовались им. Обе гордились принадлежностью к петербургско-ленинградской интеллигенции, и, полагаю, мало задумывались о своем происхождении, хотя во всех анкетах неизменно писались еврейками. Не думаю, впрочем, что вопрос о национальности имел для мамы и тетушки значение. Они естественно вписывались в лишенное расовых предрассудков общество, к которому принадлежали, и не имели с этой стороны каких-либо проблем.

Слова «еврей» и «жид» я впервые услышал лет в семь-восемь при чтении вслух «Тараса Бульбы». Дед, большой любитель Гоголя, читал нам повесть без купюр (как, вероятно, следовало), и мне было до слез жалко непонятно за что избиваемых запорожцами людей. Взрослые пытались ответить на мои вопросы, однако идентифицировать евреев из книги как близких по крови нашей семье детское сознание отказывалось — мне больше импонировали казаки.

Нашей ассимилированной семье грубо напомнил об ее еврейских корнях бурный рост государственного антисемитизма в после-

военные годы. Как следствие этого, мою маму, главную кормилицу дома, уволили из Военно-медицинской академии, блестяще способному брату лишь с великим трудом, с помощью влиятельных знакомых, удалось поступить в университет. Меня лично возрождение в стране «еврейского вопроса» не затронуло — я был записан по отцу, русским. Это был мой выбор, продиктованный, как мне кажется, не меркантильными соображениями, а внутренним самоощущением. Чем оно определялось тогда, мне трудно сейчас объяснить. В силу особенностей нашего воспитания я толком не осознавал, что вырос в еврейской семье.

Моя мама еще успела застать ренессанс еврейского самосознания в России, но до конца ее долгой жизни явление это оставалось для нее хотя и почтенным, но внутренне чуждым. Она никогда не помышляла об иммиграции и вне родины, вне русского языка и культуры, себя не мыслила.

Как отнеслась бы ко всему этому Котя, будь она жива, остается только гадать.

## 8

Котя дожила до глубокой старости. С возрастом она высохла и сгорбилась, стала совсем плохо видеть и очень страдала от болей в ногах. Связи ее с материальной стороной жизни настолько сократились, что она, казалось, существовала в качестве чистого духа. Но свойственной ей доброты, приветливости и чувства юмора она не теряла. Придуманные ею смешные выражения широко употреблялись в нашей семье.

От слабости Котя много лежала, рядом с ней устраивалась кошка, традиционно носившая кличку «Пунька». Читать Коте стало трудно, много времени она проводила за раскладыванием пасьянсов. Развлекало ее и радио, передававшее в те годы много хорошей музыки. Котя была очень музыкальна, она напевала нам в детстве кусочки старых русских песен, которых я ни от кого другого больше не слышал. От Коти же мы узнали и старые солдатские песни — «Взвейтесь соколы орлами» и «Эй, солдатушки, бравы ребятушки», в советское время забытые. Для нас они казались столь же экзотичными, как для поколения нынешних подростков “Каховка” или “По военной дороге”, озвучивавшие из черного бумажного репродуктора наше довоенное детство.

Было не всегда понятно, спит Котя или тихо лежит на кровати. Войти в нашу комнату можно было только через проходную Котину. Бывало, что я возвращался домой очень поздно, а то и приводил с собой подругу. В сумерках белой ночи скрыть это было невозможно, но я считал, что Котя спит, и, держась за руки, мы с девушкой на цыпочках прокрадывались мимо нее. Спала ли она на самом деле, я не уверен. Из деликатности она не стала бы говорить на эту тему.

Глубокая старость тяжела для всех, но я думаю, что многие старики мечтали бы кончать жизнь так, как Котя. Рядом с ней находились преданно любившие ее племянницы, навещали внуки, приводились малолетние правнуки, от присутствия которых Котя таяла. Она обожала детей, хотя иметь своих судьба ей не дала. Отчасти в шутку, отчасти всерьез она недоуменно спрашивала: «Все дети так хороши. Как объяснить, что из них вырастает столько мерзавцев?»

С годами Котя все больше погружалась в прошлое, грезилась наяву, в ее чуть померкшем сознании громче звучали не близкие, а давно умолкнувшие голоса. Котю еще можно было растормошить и выспросить о былом, но нас в молодые годы оно мало волновало. Острый интерес к прошлому возник позже, когда стал виден рубеж собственной жизни, но спрашивать тогда оказалось уже некого.

Котя не боялась смерти и спокойно говорила о ней. До последних дней она сохраняла способность шутить над своею немощью. Незадолго до кончины Котю перекладывали в постели. Эта процедура, выдававшая ее бессилие, была для Коти крайне унижительной и неприятной. Она была уже так слаба, что трудно и тихо говорила, но брат понял ее слова. Котя повторила шутливую фразу умиравшего Генриха Гейне, сказанную в сходных обстоятельствах — его поднимала с постели жена: «Женщины продолжают носить меня на руках».

Котя тихо угасла в 1967 году в возрасте девяноста четырех лет. За верность цифры не ручаюсь, никто из нас точно не знал ее возраста. Верная правилу исключать из жизни близких людей все свое, личное, она никогда не отмечала день своего рождения и шутками отвечала на вопросы о нем. В ее рассказах была, однако, надежная временная веха: Котя помнила торжества по случаю взятия Плевны (1877 год) в турецкую войну. На народном гулянии она сидела на плечах у няньки, та подбрасывала ее в воздух с криком: «Ура, Плевна наша!» События тех дней казались нам глубокой стариной. Трудно



поверить, что пройдет еще лет десять, и «живыми ископаемыми» будут считать уже наших сверстников, помнящих вторую мировую войну.

Котя похоронена на Охтенском кладбище. В ее могиле покоится уже прах тетушки и мамы, подходит очередь наша с братцем. Скоро Котя опять соберет вместе и возглавит всю нашу прежнюю семью. В этот раз навсегда.





## Печальные вестники

Собака у небесных врат! — ревел Аввакум. — Собака! Нечистое животное... — Собака не нечистое животное! — крикнул я. Она создана тем же Богом, что и ты и я. Если для нас есть небо, то должно быть небо и для животных, хотя вы, свирепые старые пророки, в вашей бездушной безгрешности о них совсем забыли...

*Аксель Мунте  
«Легенда о Сан-Микеле»*

«Сегодня ночью за мною прилетала смерть» — сообщила нам бабушка. Разглядеть в темноте печального вестника она не смогла. Он бесшумно летал над ее головой и опахивал лицо крыльями. Бабушка поняла, что вестник подавал ей знак о скором конце, когда он вернется за ее душой. Предположение, что все это ей приснилось, бабушка гневно отвергла. Явление печального вестника заметила не только она, но и спавшая с ней кошка. Вестник кружился низко, любимица Пунька вступилась за хозяйку и пыталась его скоттить, но против нежити оказалась бессильна.

Мама подозрительно взглянула на меня. Когда мы остались одни, она велела проверить клетку с привезенными накануне летучими мышами. Двух зверьков не хватало. Это они летали ночью по квартире и смутили покой старушки.

Сейчас мне столько же лет, сколько было бабушке в те далекие годы. Скоро мой черед уходить, и лучшими вестниками этого были бы для меня летучие мыши. Конечно, я очень грешен. Вся жизнь я ловил и изучал летучих мышей не самым приятным для них образом. Но делалось это не ради корысти, а исключительно во имя по-

знания. А что мы лучше знаем, то больше любим. Быть может, это зачтется, и крылатые зверьки согласятся оказать мне последние земные почести.

Остается выбрать достойного кандидата. Нет у меня душевной близости с подковоносами, неряшлива остроухая ночница, злы и кусачи поздние кожаны или рыжие вечерницы. Пусть вестниками моей смерти будут те же зверьки, что некогда смутили покой бабушки: барашек-ушан или нежная маленькая ночница. Пятьдесят лет назад я впервые увидел их в пещерах под Ленинградом и был очарован на всю жизнь.

Верю, что общество крылатых зверьков поможет моей душе покинуть тело и отправиться в последний земной путь. Обязательно ночью, с мерцающими в вышине звездами. Впрочем, я согласен и на редкий теплый дождик.

О состоянии погоды мы столкнемся, больше заботит меня возможность согласованного перемещения летучих мышей и моей души. Принципы ее локомоции, скоростные характеристики и энергетика очень меня интересуют. Хочется верить, что покинувшая тело душа двигается легко, быстро и беззвучно, подобно детскому воздушному шарик, надутому гелием. Успеют ли за ней рукокрылые?

С детства мы знаем, что души праведников возносятся вверх, а души грешников низвергаются вниз. Если выражения «широкая душа» и «мелкая душонка» считать метафорическими, и объем души принять за неизменный, на степень ее летучести (в соответствии с Архимедовым законом) воздействует только сила тяжести. Похоже, что души сортируются на небожителей и обитателей преисподней в соответствии с их массой: при обилии грехов масса возрастает. Это значит, что покинувшая тело душа продолжает существовать в мире, где действуют силы тяготения. С гравитацией связаны также понятия «верх» и «низ», лишь при ее наличии могут работать и весы, издавна почитавшиеся символом правосудия.

Я не считаю себя ни злодеем, ни праведником, путь моей души не вниз и не вверх, а по компромиссной горизонтали. Это совпадает с модными сейчас представлением, будто освобожденная от тела душа преодолевает темный туннель, наподобие штрека в горных выработках. Выход из него приветливо освещен, за ним — красивый солнечный луг, довольные лица родных и друзей из тех, кто навсегда нас покинул.

Их узнаваемость примечательна. В земном мире душа нематериальный, невидимый глазом фантом, а на том свете, похоже, она обретает человеческий облик. Радость же встречающих понятна. Им скучно, они ждут тебя с земными новостями. Они попали сюда не по доброй воле, приветствовать новичка доставляет им утешение. Сходное чувство испытывает путник, когда идущий позади него упал в том же месте, где раньше поскользнулся и вымазался он сам.

Если душа не обладает собственным двигателем, гравитация не позволит ей горизонтального движения. Тут нужна сила со стороны, толкатель вроде ветра. Либо необходим первоначальный импульс, обеспечивающий душе нужный вектор и скорость перемещения даже в условиях невесомости.

Для моей души тягу могли бы создать крылья летучих мышей, но у входа в туннель непременно будет дежурить суровый вахтер. Конечно же, он не пустит туда моих провожатых. Воображение рисует строгую надпись: «Вход на тот свет с животным воспрещен.»

По христианскому канону звери и птицы не имеют души и лишены потому вечной жизни; еще непримиримее в этом вопросе мусульмане а также иудаисты. Если так, мы обретаем после смерти мир, лишенный «меньших братьев». Вопрос, однако, не столь прост. В существование на том свете растительности не сомневаются даже безбожники. А там где есть флора, должна быть и фауна. Если Райские сады цветут и плодоносят, в них обязательно есть насекомые-опылители, без них не завяжутся плоды, даже такие экзотические, как яблоки познания добра и зла. Кусачие же кровососы в райские кущи проникать не должны, им место во владениях Дьявола. Насекомых, впрочем, так много, что возможны ошибки, нельзя требовать от Создателя глубокого знания энтомологии.

Так есть ли фауна в Загробном царстве? Однозначно ответить на это пока трудно. Противоречивость мнений связана, на мой взгляд, с серьезной ошибкой, которую постоянно допускают. Неправоммерно отождествлять Рай — место вечного упокоения душ праведников, с Райским садом, где блаженствовали до грехопадения Адам и Ева. Первое — небесный чертог, Сад же Эдемский — часть земного мира, хотя и заповедник Божий. В библии прямо сказано, что Творец поручил Адаму и Еве давать названия еще безымянным в то время животным, обитавшим вокруг них. Что же касается Рая небесного, то описание природы тех горних высей отсутствует. Преисподняя же, как хорошо всем известно, есть царство огня, кипящей смолы и чу-

гунных сковород. Достоверная реконструкция природных условий ада отсутствует.

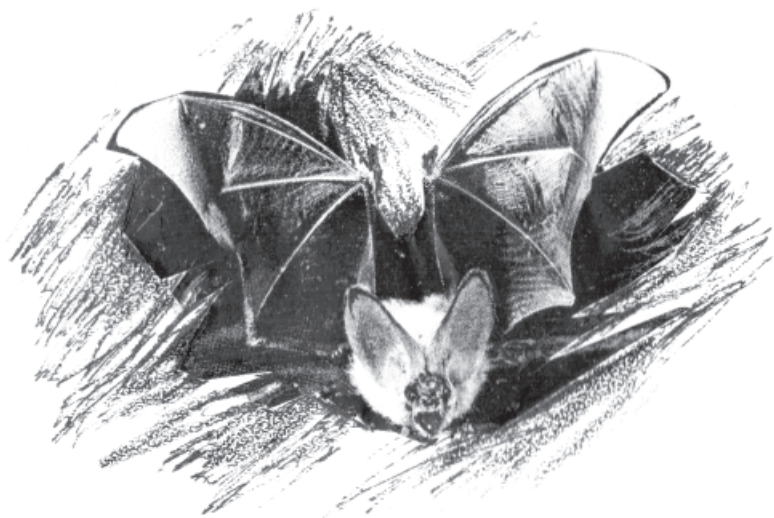
Решение вопроса оставляю богословам. Для меня же мир, где нет фауны или она представлена одними шестиногими, решительно не подходит. Моя жизнь прошла рядом с животными, работа с ними стала моей профессией. Самое важное и интересное — радость познания нового, дальние экспедиции, счастье работы в природе — связано у меня с изучением зверей. Не могу обойтись и без домашних питомцев. Их век короче человеческого. Жившие у меня всю жизнь собаки, собранные вместе, могли бы составить небольшую свору. Я-то знаю, что у них были души, любящие и верные, но как убедить в этом сурового вахтера? Если бы не он, псы собрались бы встретить меня у выхода из туннеля и облизали на радостях с головы до ног. Если, конечно, душа имеет указанные части, и ей свойственен запах, по которому собаки узнают хозяина.

Существование без летучих мышей и собак слишком постыло, чтобы не пытаться его избежать. За переселением душ из одного мира в другой наверняка следят, но на стыках административных границ всегда мало порядка. Как водится, земное и небесное начальство надеется друг на друга и не проявляет излишней бдительности. Сумели же возвратиться обратно те, кто рассказал нам о полетах по туннелю! Торопиться нырять в него воздержусь и я.

Человеку советского воспитания у входа в туннель грезится длинная очередь. Носятся слухи, что у передних лучшие шансы на устройство, толпа волнуется, соседи подозревают друг друга в том, что раньше они здесь «не стояли». Я уступлю очередь одному, второму, потом меня из нее выпихнут. В толкучке легко затеряться. Моим крылатым спутникам пора возвращаться назад, и я уйду проводить их — обиженных, печальных и усталых. Эти проводы наверняка затянутся. У летучих мышей замечательные способности к ориентации, с любого расстояния зверьки безошибочно находят свой дом. Они помогут моей душе преодолеть беспредельность мира и вернуться к оставленному телу — пусть брэнному, но своему, родному. А там, глядишь, исчезнет надобность покидать земную юдоль, и вновь в мою жизнь войдут летучие мыши, уже не как печальные вестники, а как объект любви и изучения.

...Мечтания увели меня далеко, к рубежам жизни и за их пределы, куда не положено заглядывать человеку. И всюду меня сопро-

вождали крылатые зверьки. Увы, желание не разлучаться с ними в действительности осуществить трудно. Для явления печальных вестников необходим внук, который увлечен летучими мышами и приносит их в дом. Я сам был им когда-то, но мне такого внука судьба не подарила.





# Содержание

О Петре Петровиче Стрелкове (1931–2012) .....	5
Трактат о хождении в гости .....	7
В трех соснах над Капланкыром .....	11
Белое солнце Бадхыза .....	16
За кииками .....	22
Крещение по-памирски .....	32
Гюрза .....	36
Эрик .....	41
По меловым пещерам Средней России .....	45
Помогите, тону! .....	51
Дуня – моя последняя охотничья собака .....	56
Непредвиденное путешествие .....	63
Р.Е. Грузов. Непредвиденное путешествие глазами спасателя .....	76
В поисках пиратских сокровищ .....	84
Графская родословная .....	92
Добрый гений нашей семьи .....	96
Печальные вестники .....	130

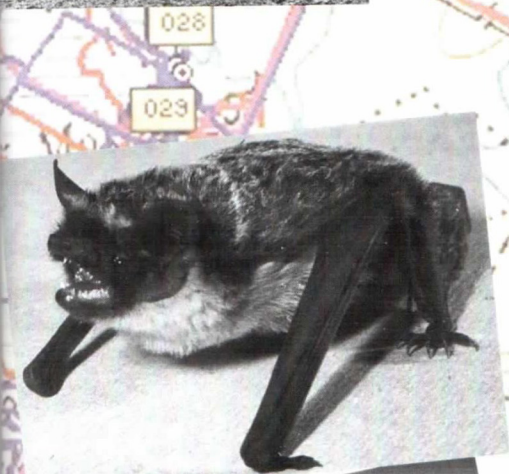


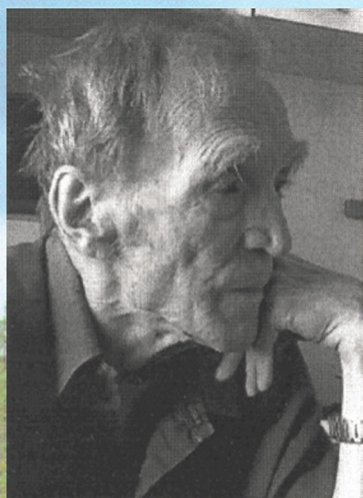
**Стрелков П.П.**

Непредвиденное путешествие. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2015. — 134 с.

Рассказы об экспедиционных происшествиях и эпизодах жизненного пути известного зоолога П.П. Стрелкова. Вырисовывается портрет российского интеллигента второй половины прошедшего века, человека с глубокими петербургскими корнями, трудным детством военного и послевоенного времени, счастливой жизнью ученого, всю жизнь работавшего по призванию, а не карьеры ради, человека с признанными за рубежом научными заслугами и весьма скромной зарплатой научного сотрудника Академии наук, горожанина, страстно любившего природу и неплохо знавшего и любившего деревню, наконец, писателя-лирика.

Книга может быть интересна широкому кругу читателей.





**Стрелков П.П.**  
**Непредвиденное путешествие.**  
Рассказы об экспедиционных происшествиях и эпизодах жизненного пути известного зоолога Петра Петровича Стрелкова (1931–2012).  
Вырисовывается портрет российского интеллигента второй половины прошедшего века, человека с глубокими петербургскими корнями, трудным детством военного и послевоенного времени, счастливой жизнью ученого, всю жизнь работавшего по призванию, а не карьеры ради, человека с признанными за рубежом научными заслугами и весьма скромной зарплатой научного сотрудника Академии наук, горожанина, страстно любившего природу и неплохо знавшего и любившего деревню, наконец, писателя-лирика.

